



15

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

15

ПАРИЖ

1985

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

The League of Supporters Т. Венцлова, Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, В. Турчин, Е. Эткинд

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1986

Адрес редакции .

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Эдуард Лимонов

НАЧАЛО

... И только Иван был чернее меня
На журавлевском пляже
Лет двадцать назад Ивана кляня
С ним я сдружился даже
Загар его был в цвет сажи...

Вот мы и ходили с Иваном вдвоем
Средь них удивительным черным зверьем
Ночами работали оба
Запомню Ивана до гроба

Его съел кожевенный старьей завод
А мне "Серп и молот" вдруг сунул расчет
Свобода. И двести рублей
И август. Принцесса и змей...

.....

... И помню я водки холодный стакан
Прическу под Элвиса Пресли
Я харьковский вор. Я бандит-хулиган
Пою под гармонику песни...

Мне Немченко Витька с похмелья играл
Любил меня Витька Карпенко
Сестра у него была полный отвал
В нее был влюблен друг мой Генка...

Ирина? Нет кажется Люда? Ах нет...
Какое-то имя простое
Я стал забывать по прошествии лет
Начало истории героя...

СЕБЕ САМОМУ

Времени все меньше
Все тропинки уже
Нет прекрасных женщин
Воздух пахнет хуже

Все мужчины — трусы
За спиной — злодеи
Скушны все Эльбрусы
Все подруги — змеи

Не доверь и брату
А тем паче — бабе
Ходишь по канату.
В молоке — быть жабе.

У любой столицы
Ты равно — прохожий
(И Москва-девица
Сюда входит тоже)

Не предаст лишь пуля
Тихая и злая
Эх ты моя гуля
Пуля дорогая...

Бога тоже нету
Лишь интеллигенты
Верят в басню эту
Да еще студенты

Нет уже обмана
Вам — Лимонов бедный
Оттого так рано
Стали злой и вредный.

ФРАГМЕНТ

.....

Мы рот открыв смотрели на пейзажи
На города на бледные моря
В морях порой киты плескались даже
Глазами темносиними горя

В зеленых льдах веселые пещеры
В руинах замков музыка и свет
Прекрасных дам сжимают кавалеры
Веда порнографический балет

С журналом мод в кустах лежат сатиры
Из Сен-Лоран наброшен на бедро
И попки нимф похожие на лиры
Среди камней расставлены хитро...

С подводной лодки спущен желтый ялик
На тонкой мачте бьется черный флаг
(Гляди на весла! О, Жолковский Алик,
Сейчас взлетят, с волны сдирая лак!)

То Фантомас в компании блондинки
Спешит брильянты закопать в атолл
Но вдоль луны (Здесь крупный план корзинки!)
Воздушный шар с полицией прошел

Вниз Шерлок Холмс сигает с парашютом
Он курит трубку не снимая плащ
А Робинзон, откушавший шукрутом,
Следит за всем, труба торчит из чащ...

.....

Мы рот открыв смотрели с Робинзоном
На облака, на тучные стада
Дышали морем, дымом и озоном
И Пятниц приручали иногда...

.....

В зеленых льдах... (решит профессор Алик,
кто повлиял? Бодлер или Рембо
или Жюль Верн?) букашкой видит ялик
В козлиной юбке Робинзон с трубо...

ЖЕНА БАНДИТА

1

Роза стоит в бутылки
Большая роза прекрасна
Она как большая брюнетка
Как выросшая Брук Шилдс до отказа

А кто же принес мне розу?
Ее принесла мне... подруга
Подруга — жена бандита.
Люблю опасные связи...

Ох, если бандит узнает,
от распрей междуусобных
с другими бандитами, сразу...
от маленьких проституток,
которых он сутенерит...
ко мне и жене повернется...

Убьет он нас двух, пожалуй...
Имеет два револьвера
И верных друзей впридачу...

Боюсь. Но любить продолжаю
Я тело жены бандита
И ласковый темперамент
Сладки опасные связи...

2

Она подарила мне ручку
И подарила цепочку
И принесла мне розу
Одела на палец колечко
А кто я такой ей? Любовник...

Могла бы решить: "Не нужно
Сделает и без розы,
Даже коты умеют
Знают как влезть на кошку...
На кой мне нести подарки..."

Из солнечной долины
Где родилась... До Парижа
Девочка докатилась
Разные нас дороги
Внесли в этот серый город...
Спасибо за твою ласку
Подруга — жена бандита...

ДОМА

На полу лежат несколько седых волос Эдуарда
Их бы следовало подобрать руками или пылесосом
Но Эдуард настолько еще одурманен гашишем
Что никак не может собраться...

Сконцентрироваться ему трудно
и проходя мимо волос раз уже с десять
он все-таки говорит себе "Позже.
Я ведь иду на кухню поставить чаю
Чай важнее, чем сорный волос
Подыму волос — о чае забуду...
Прямая существует опасность..."

Потому седые волосы. Коротки и прямые
Лежат на полу и глаза мозолят

О, гашиш! Восточный источник лени!
Не курите, друзья мои, гашишу
В запустение гашиш дом приводит...

ЛЮДВИГ

1

Ох и Людвиг-поляк, ну он и Людвиг!
Зубы рыжие ощерит и смеется
(Будто скачет разбитая телега
поперек моего большого детства...)
Кокаину нюхает, а после пивом
кокаинную светлость он снимает...

Рядом бегают черная собака...
Дальше прыгает сын в жерле квартиры
Гости Людвиг пьют да горлапанят
Режиссеры... Актеры и актрисы
(И Анук Эмэ была там с ними,
только старая. Бедная, стеснялась...)

Проживает Людвиг на Монмартре
Он его поддерживает славу
По монмартрским переулкам он качает
Свою пивом надутую фигуру
"Запердоляный в дупу" он гуляет...

Есть еще на свете и поляки...

2

Но однако Людвиг прост не так-то
И свои проблемы он имеет
И имея все свои проблемы
Он однако их вовсе не решает...

14 ИЮЛЯ

Инспектор тюрьмы и начальник работ
Прекрасный вокруг народ
Светлейшие лица, большие очки
Добрейшие мысли и с флагом значки

Французский флаг развевается вздут
Под флагом каждый одет-обут
Под флагом каждый с бутылкой вина
И по паштету на говоруна

Да здравствуют кролики разных народов
Сплоченные вместе приятным трудом
Повысим усилия кролиководов
И больше кроликов произведем

К утру через матку выходит кролик
Ботинки. Жакет. Голубая плешь.
Зовут его Жан и зовут его Толик
Возьми-ка морковку, дурак, и ешь

Очки и пиджак и галстук на темя
На жопу глаза и в карман — банкнот
А ну, расступитесь, Товарищ Время
К своей Демократии кролик идет

Несет он ей губы и острые зубы
Сосет ее грудь горячо
Жандармы трубят во французские трубы
Взнеся с аксельбантом плечо...

• • •

Сосед англичанин надел коуж
Подругу взял и пошел в кино
И не возвращался часов до двух
Вернулись вдвоем, я видал в окно

В Париже холод такой густой
Как будто Сибирь — Красноярский край
И нету дома. "Пойду Домой!"
А сам идешь в дровяной сарай

Живу как волк и умру как волк
Вчера пережрал и болит живот
Свинину ел и была как шелк
Но много съел и страдаю вот

Была бы жена чтоб сказать "Постой!
Довольно съел. Потерпи до утра".
Но так как живу я вдвоем с собой
Так ем раз в день и по полведра

К чему эта жизнь меня приведет
Как всех к концу, а конец один
Я вижу как грубо мой труп кладет
В большой чемодан чужой господин

Нет он не поправит за членом член
Чтоб мягко лежали, не терлись бы
Его профсоюз ввиду низких цен
Ведет забастовку против судьбы...

А все же получает деньги "он"
Мне интересно как это бывает
Что деньги все же "он" все деньги получает

.....
Подставив огненному солнцу все детали
И тело сваленному древу уподобив
Лежу я, джинсы и сандали
На жестком камне приспособив
И чайка надо мной несется
И грязная, она смеется,
В камнях всю рыбу приутробив
"Что ж ты разрушила макрель?"
Я говорю ей зло и грубо
Она топорщит свою шубу
И целит подлая в кисель
Оставшийся после отлива
Прожорлива и похотлива
Как Дон-Жуан косит в постель

.....
Мне все равно. Я задаю вопросы
Не потому что я ищу ответы
Не эти чайки — мощные насосы
Говна и рыбы. Даже не поэты
И нет не мир покаты́й и бесстыжий
Мне не нужны. Смеясь а не сурово
Я прожил целый прошлый год в Париже
И как эстет не написал ни слова

.....
Однако б мне хватило этих сумм
.....

ИУДА НА БРОДВЕЕ

1

Я шел по Бродвею, одетый в полковничий плащ
Полковник был русский, а после — нацистский палач
Покончив с войною, в Нью Джерси приплыл в пароходе
И умер недавно согласно закону в природе

.....
В двадцатом-то веке уж можно ходить без калош
На вашего Бога прохожий в калошах ужасно похож
Бородка. Усы. Небольшие пустые глаза...
(Чуть что происходит, уверен, глаза орошает слеза)

Характер истерика. Нервная дама, не муж
Змея, — так гадюка, хотя это маленький уж
Ему быть Христом, никогда не носить эполет...

.....
Жил Слава Васильев когда-то. Тишайший поэт...

Он тоже немного, но Бога мне напоминал
Ходил он по водам. Он в ливень бутылки сдавал
Набьет свой рюкзак и идет и плывет по земле
Где маленький Слава? Увы он окончил в петле...

(Он "кончил" буквально. Про это все знают давно
Оргазм наступает, коль горло у вас стеснено
Прямая есть связь между горлом и "кончил в петле"
Из тех же чудес, как "рисует мороз на стекле")

2

И жил некто.....овский. Вполне подходящий поэт
Прошло уже двадцать по-моему всяческих лет
А где этотовский? И где остальные, где дюжина?
Я помню был суп. И одна в этом супе жемчужина...

По мискам шербатым, что сделаны были в Астории
Разлили мы суп в самом-самом начале истории
Две тысячи лет пролетело. Жемчужина сальная
Досталась Иисусу, а с нею и слава скандальная...

Так если ты миску рукою от брата берешь
То помни последствия. "Бразэр" конечно хорош
Однако предательство — тоже приятная миссия
Кто самый известный? Иуда. Признает любая комиссия

Любая статистика скажет — Иуда, глава
романтической школы

К Христу наклоняясь, мы помним, он шепчет глаголы
Блистают глаза его. Дерзостно молнии мечутся
И в суп попадая, шипят... умирают... калечатся...

3

Я шел по Бродвею, одетый в полковничий плащ
Полковник был русский, а после — нацистский палач
Он умер в Нью Джерси. Один, без друзей и родных
Оставил он тряпки. И я унаследовал их...

Прекрасен Бродвей! На Бродвее просторно и ветрено
Хотел написать о количестве монстров квадратном на
метре, но
Вдруг вспомнил, что грязный Бродвей полагается
мерить количеством ярдов
...и вдруг натыкаешься — "Бринкс" ...и встречаешь
двух гардов...

Мешки. Револьверы. Глаза под фуражками грозные
Порезы от бритвы, и ох, подбородки серьезные...

А так как вы знаете, ветер среди нас по Бродвею
гуляет
То ветер естественно старшему гарду наклейку
с щеки отгибает...

4

Манхэттан с Бродвеем готовят себя к Халуину
Идя по Бродвею ты видишь внезапно витрину
Где смерть как мужчина токсидо напялила гордо
И держит за талию женщину-смерть она твердо

Кровавая маска все крутит и крутит педали
И кровь все течет. Как же ноги ей не отказали?
Кровавая маска, подпорчена скверной могилой
Отчасти зеленая, детям она представляется милой...

Стоят три ребенка и просто раззявили рты
Я думаю — "Дети-то нынче тверды и круты
Кровавую маску, еще и фу, гадость! что в связи с
могилой!
Лет тридцать назад не назвал бы я мальчиком милой..."

(Вообще-то я думаю часть населения к празднику зря
деньги тратит
Для многих и маски не нужно, лица вполне хватит
Манхэттан с Бродвеем достаточно монстров вмещают
Таких выразительных, что Франкенштейны линяют...)

5

Такие дела... А иду я в "Бифбюргер", ребята
Хотя и писатель, однако живу не богато
Предавший друзей. Ими преданный тысячу раз
Иуда. Я жить научился один наконец-то сейчас

Бродить по Бродвею и по Елисейским полям
Чуть-чуть оживляться среди "обольстительных дам"
И руки засунув глубоко в карманы, в полковничий
плащ
С достоинством шествовать среди человеческих чаш

Чего там... Все ясно. И дамы и войны двух мух...
И слава... Увы человеческий это все дух
И крепко вдохнув этот сыру подобный вонючему
как бы рокфору
Их запах... Иду, а Бродвей загибается в гору...

ГОСТИ

Они не созвонились, не условились о часе, ввалились развеселой компанией, будто про них и закон не писан: "— Принимайте гостей! Есть кто дома? Хозяева!" Я кинулся по лестнице вниз, с визгом, предупредить жену, чтобы заперлась, не пускала, но, как всегда, опоздал, ослаб, раскаялся и сказал сам себе, абстрактно, со злорадством: ага, попался?..

Они вошли, и я — замер. Я всегда замираю перед лицом опасности. Теряюсь. Исчезаю. Думаю с грустью: ну пусть войдут! пусть я умру — пронесет!.. Напрасно.

Слышу голоса в передней. Разбазаривают с женой, терзают вопросами.

— Ну как ремонт? — спрашивают. — Закончили ремонт? И где наш уважаемый?

Уважаемый это я. Но я не откликнулся. Знаю, знаю, чего им надо. Ходят в гости... Ремонт, видите ли, им подавай. Какой ремонт?..

Жена, как могла, виляла:

— Уехал с утра в Италию...

— В Италию? — они изумились. — Без вас? Жаль, жаль, — мы так давно не видались...

Тоже скажут — давно! И года не прошло с последнего вторжения. Правда, тогда я, помнится, испарился в боковую калитку и чуть не до рассвета, один, бродил по Парижу. Внушал себе: ничего! будь камнем! будь мостовую внутри! и пусть по тебе ходят... Когда я был ребенком, я радовался всякое утро, что вот оно, утро! настало. А чем старше, тем больше клонит к вечеру, к ночи. С утра я вялый, вареный. Днем не знаю, за что взяться. Лишь к вечеру оживляюсь. Ах, вечер, вечер! Ах, наконец-то ночь!.. И кажется, немного еще, и душа, перейдя в пальцы, поселится где-то поблизости, на кончике пера. Я стану бестелесен, невидим... Я сам у себя повисну на острие пера...

Но к трем часам все равно скисаю. К трем часам я скисаю...

Потом они месяцами, неделями трезвонили по телефону, грозя застать. Но я то слягу в постель с высокой температурой, то прикроюсь ремонтом в доме. В конце концов, не хочется зря обижать. Уже и так поговаривают: вурдалак наш уважаемый — по ночам летает. Как же — улетишь от них! Нет и шести. И выходы перекрыты. А я только-только пристроился. Никого не трогаю. И первая фраза сама собою, как бабочка, уселась уже в голове. Наказание с этими незваными гостями. Расхаживают по этажам, как с палубы на палубу, под предлогом ремонта: а что у вас там, Мария Васильевна, покажите! а в кабинете писателя?.. Тут-то я и ретировался в уборную.

Прекрасно: светло: окошечко в садик выходит. Блокнот, очки, самопишущая ручка — при мне. Дверь — тяжелая, на железном крючке, не выдернуть. Как в крепости. Нехватает запасного

спуска в переулок. Либо люка в потолке — на чердак...

Пытаюсь вернуться в исходное состояние. Нет, упустил момент. Не то настроение. А упустишь главную фразу, и что тогда? Куда я денусь? Мелькнет здравая мысль, и уже погасла. Не вспомнить, не воссоздать.

Присел, не снимая штаны, на белоснежный унитаз. Просто затекают ноги, когда стоишь и не двигаешься. Достаяю блокнот. Наслаждаюсь тишиной одиночества и сознанием безнаказанности. Если бы еще закурить! Вы не представляете, как тянет курить спрятанного в засаде мечтателя. Душу готов заложить за понюшку табаку...

Приходишь в ярость. Срабатывает не разум, не талант. Срабатывает инстинкт. Инстинкт самосохранения автора посреди разверзшейся жизни. Мы пишем от бессилия, ни от чего более. На чувстве окончательного, фатального бессилия. И не сердцем, не умом — остатками рук и ног. Пишешь от недостаточности. От нехватки. И только на этой нехватке и недостаточности еще живешь и работаешь...

Досадно, однако ж! Пачку сигарет забыл в гостиной, на камине, заветных сигарет — "Голуаз"... Теперь ее без меня растащат. Всю — раскурят. А где куплю? Эту пачку отсюда, можно сказать, я насквозь вижу — через два этажа. Голубая. Под целлофаном — шапка с крылышками. Крылатый военный шлем. Летите, летите вдаль, сигареты "Gauloises"...

Пишешь впереди, а не сзади себя. Сзади — строишь планы, рассчитываешь. И все не так и не то, но это потом откроется. А когда пишешь — рождаешься и поэтому не помнишь, зачем и где ты живешь. Боишься умереть, не успев родиться. Каждый шаг сулит: смотри, погибнешь, упырь!..

А я молчу. И тороплюсь, тороплюсь... И чем быстрее пишу, тем меньше и меньше во мне остается жизни. В результате, страшно сказать, пишешь как бы с того света. Будто уже умер заранее, и тебе все равно: бесчувственный. Читатель недоумевает: откуда книга? Бежит в библиотеку справляться: где автор? А никого уже нет, никого нет...

Но будем бдительны: враг не дремлет. Кто-то торкнулся в дверь, крюк подпрыгнул, но — выдержал: сидит. Я притих, я пригнулся к унитазу. Не открою! Все равно не найдете! Внизу второй, просторный туалет, пожалуйста, для всех, для гостей... Нет, надо врываться. Безнравственно! Необъяснимо! Мало ли, может быть, труба засорилась? Бачок лопнул? Водопроводчики взяли и заперли на закладку? И слышу торжественные, убывающие шаги по лестнице. Веселый тенорок Сержа:

— Не трудитесь, Николай Иванович: занято! Так я и поверил. Куда ему в Италию? Он вообще не выезжает, не выходит из дому. Сидит взаперти, алхимик. Ну и вампир!..

Так уж и вампир! Да я, может быть, днем донором работаю? — А ночью, — спросят, — а ночью, Андрей Донатович?..” Сволочи.

Мне один сановник очень хорошо объяснил — сразу после лагеря. Опасались, не устрою ли провокацию с иностранцами.

— Да что вы! — говорю. — Я человек тихий, смирный. Кабинетный человек. Мне бы только писать пером и никого не касаться. Что вы — сами не знаете?

— Знаем, — отвечает, — изучали. Кабинетный человек. Но ведь по правде, Андрей Донатович, ваш ”Любимов” (это у меня повесть такая) тоже, как бы это выразиться, был написан в тишине кабинета...

И я расхохотался! Не выдержал и расхохотал-

ся. Настолько мне за этим местоимением "в тиши кабинета" вдруг послышалось: "— Вампи-и-ир!"

Да хоть бы и вампир! Вам-то что! Никого не убил, не ограбил. Все сам с собой, сам с собой... Это моя печаль, а не ваша! Подумаешь, вампир! Напугали! И кровь, что меня насыщает, не ваша кровь — красная, христианская, — а моя, бесцветная, белая кровь — бумага. Чистописание. Потому что здесь, на бумаге, только-только и приходишь в себя. Обосновываешься, встаешь из гроба. Ле-тишь.

Книга — конец жизни. Но ее же восполнение Удавшиеся книги летают по ночам. И всякий раз оживают, восстанавливаются в своей омертвевшей коже. Вы не знаете, вы не пробовали, как это прекрасно — оживать в книге, на время, о, разумеется на время, летать, превращаться, покончив счеты с действительностью?.. Прочитайте книги, массу книг, и вы убедитесь: все они ходят по воздуху, вниз головой, в какой-то уже сфере огня! Правда, на день за это спать укладываешься словно в пустой гроб...

Вспомнил: чорт! на кухне — надкусанное яблоко. Сам оставил, случайно, не успел доест. Увидят, засекут и, чего доброго, с перепугу вызовут полицию. Иди разбирайся, откуда яблоко, если я в Италии. И главное — что надкусанное. В принципе, если сделать экспертизу, по зубам, по отпечаткам зубов, можно догадаться, допустимо представить, что я где-то здесь обитаю и след от зубов еще совсем свежий, совсем свежий... Не доставало, чтобы меня поймали на яблоке. На яблоке?.. Меня?!..

А кто, вы думаете, оживает в книге, которую мы пишем? Андрей Донатович? Я? Здравсьте! От автора, между прочим, и следа не остается. Тем более от мелкой, окружающей материи. От каких-то

гостей. Пишешь, и все развеивается. Перечтешь внимательнее, и никого, ничего похожего на тебя, писавшего, на бумаге не существует. Отсутствуешь. Просыпаешься другим человеком. Контраст! Полная противоположность! Я, например, человек робкий, зависимый. А он, Андрей Донатович, или как бы мы ни прозвали нашего приятеля, очень, между прочим, смелый персонаж. Я — вежливый, кабинетный, принимаю гостей, усаживаю: "не хотите ли выпить виски с содовой?" — а он, между тем, сидит, как зверь, один, и не выходит из уборной. Мне к женщинам, лично мне, заказано приближаться. Не то, чтобы опасался, а не хватает решимости. А он, смелый человек, шелкает этих женщин, как орешки, и путешествует по странам Америки... Но в том-то и весь интерес: являешься не в своем облике! И в этом удовольствие, и, если угодно, извращенность, вампирическая природа писательства — перестать быть собою. О, как это много!..

Выползаю на свободу. Пока они сидят, переругиваются в гостиной, пьют аперитив, — еле-еле слышно, сняв ботинки, в носках, как по клавишам, ступаю. Ни души. Лишь доносится соло, мужское, Сержа, и смех женщин.

— Так где же наш Андрей Донатович? Ах да — в Италии!..

И снова смех...

Шут с ними. Схватил огрызок на кухне, и тут мне повезло. На блюдечке, рядом с яблоком, приткнулась моя недокуренная, непочатая почти сигарета. С добычей, с уликой, лицом к опасности — назад!.. Проклятье! Задел помойное ведро, и оно как взорвалось по кафельному полу, на весь дом. Гости приумолкли. Небось вычисляют, судят-рядят: кто грохочет? Врос в стенку. Теплые ручейки — от подмышек — текли по ребрам. Если б вмазаться в штукатурку!.. Но в оккультных науках, при-

зняться, я был еще не силен. Все больше по писательству, знаете. С бумагой. А так?..

Я ждал, прижавшись, когда они, переглядываясь и подталкивая друг друга, попрутся гуртом на кухню — выяснять... И тут уж я живым не дамся! Нет, вы еще не читали, на что я способен! Шалишь, но живым вы меня не увидите!.. Я вам не яблоко!

Мною овладело странное, я бы сказал, состояние человека, о котором я собирался писать. Будто он это я, решительный, не идущий на компромиссы, делающий все, что заблагорассудится, на бумаге. Меня угораздило даже, на крайний момент, запасть со стола тесаком, каким режут мясо. Хотите вампира? Замахнулся. Кровавые оргии разыгрывались у меня в голове...

И тут они отступились. К обоюдному удовольствию, брать приступом кухню никто не рискнул. Возможно, к ним, в гостиную, перекинулось мое настроение. Будто по команде, возобновились и гогот, и речь. "— Позвольте виски?" "— Не позволю!" "— Сонечка!" "— Содовой! содовой!.."

Пронесло.

Если бы тогда была под руками бумага (блокнот с ботинками в тайнике остался), я бы написал: "Дай Бог тебе здоровья, бумага! С тобой у меня по ночам расцветают крылья". Вообще-то, все прочее время я сплю и просыпаюсь только на тексте. Тут уж я внимателен, четок, разъярен, чувствую себя тигром. Тут кровью запахло... Пора, пора, рога трубят, — и я сажусь за бумагу. Спрашиваю: а где моя самопишущая ручка? Где мои очки, выжигающие ночь? Очки, оставляющие пятна кислоты на странице. Не для того чтобы видеть, но для того чтобы писать...

И вот я снова в моей келье. Прихожу в себя. Обуваюсь. Остываю. Записываю в блокнот: "Мой

лоб пылал". Это трудно написать, но еще труднее произнести, чтобы сразу после "бэ" следовало бы "пэ", пылание, и все вместе получалось бы так, что лоб — пылал. Сколько ни пылает лоб, ничего уже не поделаешь с этими буквами и нужно думать, как использовать их с максимальным нажимом...

Смотрю, моя шариковая ручка тоже на исходе, и одним махом сочиняю в ее честь, как Тургенев, небольшое стихотворение в прозе. Вот оно:

Самопишущая ручка

Почему, когда пишешь самопишущей ручкой и видишь в прозрачном стаканчике у нее, что шариковый заряд на исходе, почему же хочется все-таки доработать стило и оставшиеся чернила израсходовать до конца? С тайным сознанием: пусть не кончается никогда, длись и длись на исходе, самопишущая ручка! Необходима именно ты, ты одна, кончающаяся, но неконченная, тянущая из рыжего рыльца свой последний скипидар. Благодарность ли это за то, что сошла на нет ради меня, но все еще верит и держится в руке? Кто хорошо работает, на том, говорят, и ездят. Или ты, как я, работаешь на истощении, на иссякании средств? И лишь тогда, при издыхании, что-то получается. Вон и ты, умирая, стала четче писать. Как растроченная жизнь, но растроченная даром, и поэтому хочется, чтобы она продлилась. Как бывает нужна человеку недописанная судьба, но не чужая, а своя. И то, что не осталось в ней пасты, но она продолжает писать, только это одно и заставляет полагаться на уходящее из-под пальцев, изнемогающее создание и мечтать с его помощью что-то досказать. Оттого, по всей вероятности, что весь этот абзац я действительно пишу точно такой шариковой ручкой, о которой рассказываю, которая истрочена, но вопреки

очевидности старается ярче обычного, невместно нам расстаться с нею и перейти к другому сюжету. Проще говоря, я не в силах ей изменить, потому что она кончается, но еще не кончилась. И я должен, как прикованный к тачке каторжник, солдат, следовать за ручкой, пока силы у нее не кончатся. Не кончатся. Не кончатся. Не конч

... На этом месте ручка была исчерпана. Я ее доканал и подумал себе в оправдание: "Я говорил с людьми, а на самом деле писал. Делал вид, что живу, а на самом деле писал. Но моя слеза, как снежинка, опустится с неба на землю и вдруг засияет снизу, как звезда. И я ей скажу: — Сиди тихо!.."

Мне сделалось вдруг грустно. Столько времени ухлопал, столько трудов. И всё впустую. Писать уже нечем. И нечем запалить ниспосланный свыше окурок. Спички-то я запомнил на кухне из-за треклятого ведра. Моя жена, Мария Васильевна, всегда со мной мучилась. Такой умный, такой начитанный человек, говорит, и вдруг такая забывчивость. Такая непрактичность. Бывало убеждаю: "— Потерпи, Мария. Скоро, уже очень скоро, я закончу мой опыт, и мы с тобой, как на крыльях, улетим в Италию..." А она, бедняжка, бывало повторяет: "— Ах, милый друг, ты выпил из меня всю кровь! До капли..."

Так уж и до капли! Пускай и выпил, допустим, в виде аллегории — но не всю же и не буквально. И потом я ж из праха, из воздуха воззвал милый образ. Дал оболочку. Голову, глаза. Научил отвечать на вопросы. Никто не заподозрит. К нам ходят гости. С нами считаются. Уважают. Обмениваются впечатлениями. И никому, никому неведомо, что мы не те уже и не здесь... О если б еще закурить и быть невидимым! Как принц, на цыпочках, я спустился бы вниз. Я бы ходил незримо между ними и, воспользовавшись моментом, взи-

мал с победителей спички, мелкие деньги, салфетки... Они бы и не хватились, вовлеченные в свой разговор. У одной нашей барышни я бы... но не будем домысливать. Нельзя жить на одном безответственном воображении. Нужно быть независимым и дышать полной грудью, как люди. Пусть не думают, что мы умерли...

Как живой вижу: вот Николай Иванович наклоняется к полке с книгами и берет пятый том сочинений Лескова. Пускай листает, я не против. Я вообще никого не касаюсь. Я просто витаю вокруг, как дух дома, как добрый гений. И даже не прислушиваюсь, о чем они разговаривают. Разговаривают — и прекрасно. Я только вздрогну иногда от внезапных воспоминаний, если кто-нибудь спросит:

— Да где же Андрей Донатович?

И жена всякий раз заученно отвечает:

— Уехал в Италию.

Стыдно, однако ж, сидеть взаперти, словно у себя не хозяин. Какое-то средневековье. Тем более на дворе заметно уже вечереет. В окошко вижу: на фоне зари деревце спокойно растет в нашем садике. Как я его не сгубил?! Птичка прилетела и закружилась на месте, выбирая ночлег. Выбрала и сидит, не двигаясь.

У меня в голове вдруг как-то посветлело, проветрилось. Путь мой представился ясен и прям. Может быть, я заснул на секунду, а потом очнулся. Во всяком случае я созрел. Я вылез из укрытия. Сперва, как спускался — тише воды, ниже травы, а на последних ступеньках как затопая! В передней совсем задрал хвост. Расправил крылья. Причесался перед зеркалом. Зашаркал. Раскашлялся в предупреждение. Дескать, знайте, — прилетел ваш сокол!

Я ввергся в гостиную с сияющим лицом. При-

вет! Бонжур! Господа! Наше вам с тросточкой! При виде меня они и рты поразевали. На Сержа просто было больно смотреть.

— Как приятно, — не даю опомниться, — как радостно, — перебиваю, — Мария Васильевна, что сегодня у нас, — со знаком восклицания, — гости! Добрый вечер, старина Николай Иванович! А Сонечку я чмокнул в шелковую лапку, шепнув: — Давно мечтал! Прочим общий поклон, чтобы не полезли целоваться. Корректно.

— Так вы, Андрей Донатович, — спрашивает Серж с некоторым сомнением в голосе, — разве не в Италии?

Мария побледнела. Мария всегда бледнеет в подобных положениях. Да что сказать: она же не знала, что я отвечу, и страдала за двоих. Но у меня была на этот счет уже заготовлена аксиома, вполне правдоподобная. Мол, действительно, вы правы, уезжал в Италию, однако с полдороги вернулся, потому что забыл паспорт. Такой, мол, чудак, простофиля, безобидно. Пришлось пересесть на встречный поезд. А теперь, закончил я совсем уже весело, в вашем собрании, друзья, мне даже приятно эта маленькая неувязка.

По мере моих объяснений кровь медленно возвращалась к щекам Марии Васильевны. Но возвращалась ровно настолько, насколько требуется. Не переходя границ. Таким, вполне естественного человеческого оттенка, лицо ее оставалось до окончания сеанса.

— Но как вы попали в дом? Мы и не слышали!

Серж не унимался. Серж у нас всегда слыл ясновидящим. Тут уж я восторжествовал. Подкапываюсь к столику и высасываю водочную рюмку ликера. Затем извлекаю из кармана недокусанное яблоко и догрызаю у всех на глазах. Выдерживаю паузу и показываю огрызок.

— Плохой из вас разведчик, Серж! На вашем месте Конан-Дойль по этой яблочной косточке нашел бы затерянный мир. Но не стану дразнить, господа, ваше любопытство. Я вошел в боковую калитку, и потому вы пока что ничего не обнаружили. Так сказать, со двора. Какой закат нынче! Убиться легче. И какие птички! Почти как у нас в России!..

И все присмирели. А я спровадил тем временем в пищевод вторую дозу ликера. Все-таки я решался на ответственный шаг и требовалось известное внутреннее сосредоточение.

— А мы без вас, Андрей Донатович, такие стихи читали! — пропела добрая Сонечка на примирительной ноте. — Новинка из Москвы! Слышали?

За Сонечкой я давно наблюдал легкую эротику. Не заставляя себя просить, она с жаром прочла:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу...

Все понимающе рассмеялись. Даже Мария Васильевна, слыша общий подъем, не могла не улыбнуться.

— Знаем, знаем, какого коня имел в виду наш анонимный автор! — прокричал сардонически Серж, заметно пьянея от одних звуков сонечкина голоса. — И какую темницу!..

Мне стало за них неловко. Но я не вмешивался: интересно, куда делись, тем временем, завет-

ные сигареты?.. О, да они на камине! Наконец-то, милые! Спасибо! Очевидно, к вам, без меня, покамест не прикасались...

Следом за хозяином гости тоже более или менее потянулись по карманам. Как если бы спохватились, что столько уже не курили. Сознаюсь, мои "Gauloises" я никому не предлагал. Кто вынул ментоловые. Кто — крепкие, профессиональные. Турецкие, быть может, или даже, быть может, марокканские черенки. Бог с ними! Мне всегда казалось, что, независимо от состава курильщиков, совместное курение располагает к тишине и общению с богами. Трубка мира, дружба мужчин. Перевернутое подобие нашего восхождения к небу. И о чем разговаривать, к чему препираться? — Курим! Язычество, конечно. Реликт. Но имелась, значит, у кровожадных индейцев такая травка, табак, предусматривающая согласие, какого бы мы и достигли посреди всеобщей войны, когда бы вместо бравады, в собрании старейшин, вдруг сели и закурили? Значит, существует?!.. И если на улице к вам, ночному прохожему, привяжется первый встречный: нет ли закурить? не угостите ли сигареткой, товарищ? или просто попросит огонек для папиросы, вы можете надеяться, что все еще обойдется и не так уж безвыходно в этом мире: покурим!.. И не нужно ни о чем говорить, ничего доказывать...

Наконец-то на минуту в гостинной воцарилось молчание. "Пых! пых! пых!" — неугомонный Серж изображал собою подобие парохода. Он плыл по течению за своей трубкой, не в силах ее раздуть. Николай Иванович, единственный некурящий, заткнул рот леденцом, чтобы не дышать никотином. Сонечка, в соблазнительной позе, взглядывая на меня со значением, едва прикасалась губами к яшмовому мундштуку. В том, как она, не затяги-

ваясь, выпускала дымок изо рта, было что-то безвольное и немного тревожное...

Впрочем, я слабо различал уже очертания моих добрых знакомых. Они расплывались по комнате, должно быть забыв обо мне, и, углубившись в себя, я тоже о них не думал. С каждой затяжкой на душе становилось легко и свободно. Как если бы я воспарял к потолку вместе с этими кольцами и туманными завитками. Все чище, все прозрачнее делалась моя голова.

Уже подлетая к распахнутому окну, я немного придержался, чтобы узнать реакцию. Гости, как бараны, усталились в опустевшее кресло, где я только что восседал. Табачный мираж рассеивался. Закат угасал.

— Где же Андрей Донатович?..

И усталым тоном, словно повторяя урок, жена отвечала:

— Где ему быть? Теперь он, вероятно, в Италии...

— Возможно ли? Вы все свидетели! Он — здесь! Здесь! Он — только что...

У Сержа в голосе звенела истерика. Серж у нас всегда числился аналитиком. И прежде чем исчезнуть, я различил слова, произнесенные монотонно, будто с того света, во сне, бедной Марией Васильевной:

— Вы ошибаетесь, господа. Вам показалось. У вас галлюцинация. Повторяю, Андрей Донатович с утра уехал в Италию!..



Г. Померанц

РОЛЬ МАСШТАБОВ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В МОДЕЛИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Часть I

Когда какая-то идея оформляется в сознании, у нее всегда находятся предшественники. Так было и с идеей этой статьи. Просматривая работу Дитмара Ротермунда¹, я нашел, что моими предшественниками были И. Кант² и Ф. Шлегель. Кант впервые показал, что разумность или закономерность истории в значительной мере вопрос масштаба, приложенного к ней. Если масштаб мал, на первый план выступают случайности. Если масштаб крупен, становятся очевидными нарастающие процессы, и можно указать на тенденцию к всемирному политическому объединению (мировому правительству).

Эта концепция вызвала резкую критику Ф. Шлегеля. Опираясь на опыт Индии (как раз тогда впервые захватившей умы европейцев), он построил романтическую модель истории, как ряда независимых локальных процессов. Все великие культуры, с его точки зрения, равноценны. Каждая проходит путь от мистического откровения, в котором впервые рождаются ее основные ценности, к рациональным конструкциям, ведущим

Прислано из России

¹ Rothermund D. *Geschichtswissenschaft und Entwicklungspolitik* – «Vierteljahrshäfte für Zeitgeschichte», Stuttgart, 1967, Jg 15, Heft 4, S 325-340

² Kant I. *Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in der weltbürgerlichen Absicht* (1784). In Kant I. *Die drei Kritiken*. Stuttgart, 1949, S 460 ff

к поверхностной образованности и утрате творческого порыва

Сейчас, через двести лет после Канта, можно заметить, что Запад в своем развитии действительно шел к Лиге наций, к Объединенным нациям, к Европейскому экономическому сообществу, Атлантическому пакту, к идее мирового правительства. Но логика индийского и китайского развития к этому действительно не вела.

В кантовской модели прямолинейной эволюции исчезали локальные различия, неевропейские культуры могли быть включены только на правах младших партнеров, как варианты древних или средневековых стадий развития, уже пройденных Европой. Напротив, в модели Шлегеля исчезало единство исторического процесса. Диахроническая связь событий оставалась только в рамках отдельной культуры. Никаких общих часов, единого планетарного времени концепция не допускала.

Обе модели старше и Канта, и Шлегеля. Древнейшим исповедником идеи единства истории был Св. Августин, отвергавший циклические концепции во имя уникальности Иисуса Христа (единожды рожден был Сын Божий, единожды воскрес). Истоки линейной концепции уходят еще дальше, в еврейское обетование Мессии, но в Библии есть и "возвращение на круги своя" (у Екклесиаста). В историографии греков, индийцев, китайцев циклическая концепция господствует, однако есть и линейное движение, — только не вверх (к приходу Мессии, ко второму пришествию Христа, к светлому будущему), а вниз (от золотого века к железному). Таким образом, вечное возвращение и нарастающее развитие в одном направлении (хотя бы к упадку) созерцалось в течение тысяч лет.

Новое, внесенное Кантом, заключалось в открытии точки зрения историка: с одной точки (поодаль) видно закономерное, с другой (вплотную) господствует хаос. Этого открытия Шлегель не опроверг (то, что он демонстрирует, так же закономерно). Однако закономерное — не обязательно линейно нарастающее и совсем не обязательно "прогрессивное". Нарастать может и упадок. Закономерное движение может быть циклическим, маятниковым, спиралевидным и т.п. Суммарное историческое движение внутренне сложно и аналитически разделяется на много движений, каждое из которых становится отчетливо видимым, выступает на первый план при известном масштабе членения исторического времени и пространства. Я

склонен различать, по меньшей мере, 4-5 масштабов времени и столько же масштабов пространства. Нас может ограничивать околица (например, афинские или римские стены); пределы страны, империи; пределы культурного мира (мир ислама, христианский мир); система из двух взаимодействующих миров (Восток и Запад Средиземноморья); и, наконец, земной шар. Во времени — можно дозвездить дни, писать летопись царствований и династий, мыслить историческими эпохами и археологическими периодами (палеолит, неолит, бронзовый век). Наконец, можно разделить все историческое на бесконечность космических волн правити (разворачивания бытия, эволюции) и ниврити (сворачивания, инволюции).

Отбросим сперва сверхкрупный масштаб индийских махаюг и махакальп и разделим оставшиеся возможности на четыре точки зрения. Если взглянуть на историю в крупном масштабе (единица пространства — планета; единица времени — порядка десятков тысяч лет для каменного века и тысячелетий — для периода писаной истории), то проблемы тупиков и зигзагов развития сами собой отпадают. Цивилизации доколумбовой Америки оказываются вне схемы: они слишком неустойчивы и в нашем масштабе мелки, незаметны. Средние века занимают миллиметр, и после Архимеда можно прямо перейти к Галилею. Удобнее всего так смотрится история первобытного общества. То, что мы знаем, — разрозненные точки, отделенные пустотами в десятки тысяч лет. Соединяем их пунктиром, и почти естественно возникает картина прогрессивного изменения, сапиентизации. Есть тупиковые ветви, есть провалы, но они не меняют картины. Цель развития — мы сами, и прогрессирующее (нарастающее) совпадает с прогрессивным (хорошим). Еще не достигнут нижний порог романтизма, и не возникает спор, что приносит развитие, — приобретения или потери. Самые горячие романтики, насколько я могу вспомнить, не хотят снова стать обезьянами, питекантропами или хотя бы неандертальцами. Они хотят оставаться разумными людьми — и поэтому процесс накаплиющихся изменений, ведущих к разумному человеку, принимается всеми учеными примерно с одним и тем же чувством; тупики развития и регрессивные линии единодушно оцениваются всеми как тупики и регресс, без романтического томления по волосатым лапам и надбровным дугам.

Продолжая мыслить в этом же плане, можно наметить

лестницу накаплиющихся прогрессивных сдвигов, так называемых "революций"

1) орудийная революция (создание осколков определенной формы);

2) изобразительная революция позднего палеолита (создание первых образов, связанных с первыми идеями "предмета вообще", отделившегося от конкретного бытия отдельного);

3) аграрная революция позднего неолита (начало обработки земли);

4) интеллектуальная революция "осевого времени" — I тысячелетия до н. э. (возникновение личностного мышления, вооруженного логикой, взамен фольклорного, мифологического);

5) научно-техническая революция Нового времени.

Однако примерно с третьего пункта уже можно спорить, все ли сдвиги были прогрессивными. Как только человек начинает оставлять следы своей духовной деятельности (т.е. с первых наскальных изображений), прогресс его становится сомнительным. Тойнби оплакивает победу неолитического ремесленника над палеолитическим художником. Надо признать, что только полное отсутствие сведений о духовной жизни неандертальцев делает их прогресс бесспорным. Накопляющиеся сдвиги (как только мы начинаем рассматривать их в широкой связи) оказываются в чем-то эвфункциональны (благоприятны), а в чем-то дисфункциональны (создают трудности и даже могут погубить человечество).

Можно пойти дальше и сказать, что рассмотрение духовной истории человечества в крупном масштабе вообще вряд ли возможно и во всяком случае чрезвычайно затруднено. Например, всякая эстетическая культура уникальна; для любителя наскальной живописи она ничуть не ниже Рафаэля. Этический прогресс также спорен и без каких-то серьезных оговорок не может быть признан. Эти проблемы будут рассмотрены во второй части статьи

Теперь обратимся к среднему глобальному планетарному масштабу. Единица пространства по-прежнему вся Земля, но единица времени — порядка века, 2-3 веков. Широкий пространственный охват гарантирует невнимание к локальным культурам, зашедшим в тупик и погибшим. Они заметны, но как бы на втором плане. Глаз прикован к культурам субэкумен,

существующим непрерывно в течение всей писаной истории. Это Китай (с окружением дочерних цивилизаций), Индия (с таким же окружением), Ближний Восток и Запад (составляющие вместе — как мы уже заметили — одну би (суб) экумену, Средиземноморье). Наблюдая их историю, мы сталкиваемся с проблемой "средних веков" (реакцией на интеллектуальный скачок осевого времени) и замечаем маятниковые движения. Архаика — классика — средние века — новое время образуют своего рода меандр, узор, в котором эпохи инь ("женственные", обращенные более к целому, чем к частностям, и в этом смысле "темные") сменяются эпохами ян (мужественные, обращенные к открытию мира и человека, мира рационально постижимых предметов и в этом смысле "светлые"). Этот меандр можно обнаружить во всех субэкменах (хотя в Индии и в Китае — с меньшей отчетливостью, чем в Средиземноморье). Архаическая мысль повсюду сильнее в понимании целого, чем частностей. Ее мифопоэтические и ранние философские конструкции (созданные авторами упанишад, первыми даосами и досократиками) остаются потому непревзойденными, как модели единства культуры, но в частностях они темны, логически недоработаны, или вовсе алогичны. Классическая мысль повсюду создает логику как особую науку¹ и усовершенствует анализ частностей, но в какой-то мере теряет чувство целого. Демифологизация культуры приводит к снижению ее уровня, к смене мудрецов — софистами, к торжеству "поверхностной образованности", о которой писал Шлегель. Однако это вовсе не обязательно становится концом цивилизации, как он полагал. История во всех субэкменах превратила точку в запятую, и из кризиса, вызванного интеллектуализмом осевого времени, родилась раннесредневековая культура. Опираясь на некоторые, выдержавшие испытание, традиции архаики (иногда заимствованные еврейские традиции — Западом, индийские — Китаем), она создает новую целостную систему. В ипостасных конструкциях логические и мифологические ходы получили новое единство, и складывается общий язык символов, объединивших образованные верхи с невежественными низами, оставшимися на архаическом и доархаическом, примитивном уровне.

¹ Или как философскую школу, делающую ударение на логических исследованиях; например, ньяя=вайшешика

Развитие Китая, Индии и Ближнего Востока на этом стабилизировалось, испытывая колебания в рамках одного и того же строя. Но на Западе синтез оказался неустойчивым, и из его кризиса родилось Новое время, создавшее современную глобальную научно-техническую цивилизацию. Кризис этой цивилизации — первый всемирный исторический кризис; теперь крах может быть всеобщим и решение извне, за счет прихода варваров, трудно себе представить. Мыслимы только внутренние сдвиги и изменение удельного веса культур, уже втянутых в глобальное общение (например, рост влияния Китая)

Ряд духовных сдвигов современности заставляет предположить, что маятник демифологизации и ремифологизации продолжает свое движение, и мы вступаем в новую эпоху инь с новыми поисками единства в романтических мифах.

Третий масштаб может быть назван средним локальным. Пространственной единицей берется локальная культура, временной — век или меньший отрезок (например, древнеегипетскую культуру можно мерить веками, современную — десятилетиями). При таком подходе прежде всего бросаются в глаза тупики эволюции Устойчивых цивилизаций, успешно выходивших из кризисов, очень немногих. Это субэкумены и, может быть, еще 2-3 субэкуменальных узла¹. Все остальные цивилизации были неустойчивыми и погибли. Говоря словами Анатоля Франса, "они рождались, страдали и умирали".

Так погибли ВСЕ древнейшие цивилизации, впервые поднявшиеся над племенным уровнем. Подобно обезьяне, громоздящей ящик на ящик, чтобы достать банан, они создавали неустойчивые социальные конструкции, рушившиеся при первом серьезном толчке. Вряд ли имеет смысл искать, отчего погибла цивилизация долины Инда. Было бы удивительно, если бы она не погибла. В сравнительно близкие к нам времена цивилизации доколумбовой Америки подымались и рушились одна за другой. И если бы испанцы не разорили царства Монтецумы, оно все равно было обречено. Ему нечем было связать покоренные племена. Цивилизации, разрушавшие племенные ценности, только очень нескоро, после многих катастроф, научились создавать другие, универсальные, способные пережить внутренние кризисы и иностранные завоевания. Сперва это никому не уда-

¹ Ср. мои статьи по теории субэкумен

лось, и впоследствии удалось только немногим.

Если поставить все локальные культуры в один ряд, не выделив в особый случай субэкуменальные узлы и субэкумены, то легко найти аргументы в подтверждение исторического пессимизма (от Экклезиаста до Шпенглера и раннего Тойнби). Бесчисленные цивилизации, начиная с Шумера, возникают и исчезают, как сон. Преемственность между ними очень слаба; иногда ее вовсе невозможно проследить. Например, что связывает державы Атиллы и Чингисхана, возникшие и распавшиеся в одних и тех же степях, — через столько веков! И даже земледельческие цивилизации, пахущие одну и ту же землю, наследуют друг у друга скорее приемы и орудия труда, чем то, что составляет их индивидуальность, их духовное ядро. Евреи, пришедшие в Ханаан, выучились обрабатывать землю, но не стали язычниками. Современные египетские крестьяне — в какой-то мере потомки коптов. Но они говорят по-арабски и сознают себя арабами и мусульманами.

Можно найти что-то общее между пирамидами Древнего Египта и Каирской мечетью. Но эта общность, геометризм стиля, принадлежит всему Восточному Средиземноморью (отчасти Средиземноморью вообще) и выявляется только при сравнении с архитектурой других субэкумен (например, Индии и Китая). На уровне собственно локальной, египетской культуры преемственность с классической и архаической древностью ничтожна (то, что унаследовано, прошло через греческие и арабские руки). А старый, фараоновский Египет исчез, умер. Сохранились только каменные надгробия.

Чтобы перейти от исторического пессимизма к умеренному оптимизму, надо вернуться от третьего масштаба ко второму. Тогда можно будет сказать вместе с поздним Тойнби цивилизации живут и умирают, чтобы человечество сделало следующий шаг в духовном развитии. Круговорот рождения, зрелости и смерти локальной цивилизации подобен вращению циркулярной пилы, которая с каждым оборотом все глубже врежется в ствол... Таким образом, возможность смысла истории и исторического прогресса сохраняется, но только в том случае, если мы идентифицируем себя не с локальной культурой, а с мировой (по замыслу) религией, сфера влияния которой захватывает, по крайней мере, субэкумену.

Четвертый масштаб можно назвать антропоморфным.

Его единица в пространстве и времени — человеческое переживание события. События кишат, как микробы в капле грязной воды. Некоторые события разрастаются и оставляют всемирно-исторические следы. Но от этого они не приобретают постижимого смысла. Их закономерность — очень тощая. Скажем, набег степняков время от времени повторялись и всегда были возможны. Но не существует никакой причины, способной объяснить грандиозные монгольские завоевания, помимо тех причин, которые сплелись в личности Чингисхана. И если мы допустим, что дело в медиумичности Темучина, ставшего "человекоорудием"¹ могучих демонов, — иррациональность просто переносится на другой, демонический уровень. Если бы Темучин не стал Чингисханом, монголы вряд ли пришли бы на Калку, и, следовательно, не было бы современной России. Восточные славяне сложились бы в какую-то другую политическую систему, — возможно, из нескольких стран, — и у них были бы другие характеры.

Точно так же закономерен, в известном смысле, антисемитизм. Но нельзя вывести из постижимых внеличных причин действия Гонты или Железняка в Умани или решение Гитлера принести подвластных ему евреев в жертву сатане. А в результате гитлеровского сатанизма возникло государство Израиль и завязался нынешний ближневосточный узел.

Мировая история полна таких царапин, таких шрамов и язв. Как мыслящие существа, мы можем отвлечься от них. Но история от этого не отвлекается. И мы вынуждены вновь и вновь возвращаться к капризам Гитлера или Сталина. Даже с тем, чтобы показать, какие внеличные силы пробились через эти капризы.

На строго антропоморфном уровне факт неповторим и обобщения кощунственны. Единожды родилась Анна Франк, единожды погибла. История исчезает, остается поле нравственного действия, не заботящегося о своих результатах. Эта точка зрения развита Толстым (в эпилоге "Войны и мира"), Кьеркегором, Камю. Человек мыслится актером, играющим роль, посланную ему провидением (или судьбой), и предоставившим общий план постановки высшим силам. Разгадать замысел их невозможно, и попытки вмешаться в режиссерские функции бес-

¹ Термин Д. Андреева

плодны. Они только отвлекают от человеческого нравственного долга, наделяют ложным сознанием "исторической миссии", "исторической значительности" и легко превращают деятеля, захваченного своими ложными идеями, в преступника или в пустоцвет (Наполеон и Ростопчин в "Войне и мире")

"История, — пишет Р.Нибура, — сфера, где самым неожиданным образом переплетается человеческая свобода и естественная необходимость. Человеческая свобода постоянно творит самые курьезные, самые непредвиденные исторические события и явления. Все попытки раскрыть процесс повторений, как это делали Шпенглер и Тойнби, или процесс развития, как это делали Гегель, Спенсер или Кант, будут насилем над беспредельным разнообразием исторических форм"¹

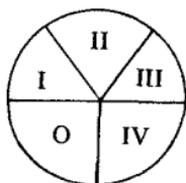
С точки зрения Нибура, разница между оптимистическими концепциями линейного развития и пессимистическими концепциями повторения становится несущественной. Всякое крупномасштабное (и среднемасштабное) сцепление фактов воспринимается с антропоморфного уровня как насилие над реальностью. Такая точка зрения приобретает большую силу в абсурдных ситуациях, когда историческую закономерность невозможно угадать, а то, что угадывается, — не утешает.

Антропоморфный масштаб иногда восполняется и подкрепляется теоморфным (по нашему счету, — нулевым) Вводится точка зрения Бога, для которого единица времени — вечность Вечность и время логически не координируются. Тем не менее, вечное вводится в историю как Провидение, стремящееся к своей неисповедимой цели, или как игра (лила) Брахмана (или Вишну, или Шивы), которая ни к чему не стремится и несет цель в себе самой. Теоморфный масштаб позволяет поместить свои ценности на небесах, над бессмысленной прихотью судьбы, и, таким образом, придать человеческой жизни, лишенной исторического смысла, некоторый духовный смысл.

Можно нарисовать круг воззрений на историю, верхняя часть которого характерна для научной цивилизации (I,II,III), а нижняя — для донаучной (или для ненаучного взгляда (IV + 0). Концепции I, II, III, как правило, плохо сочетаются друг с другом и выступают как непримиримые конкуренты (в особенности I и III). Напротив, IV и нулевой, антропоморфный

¹ Niebuhr R. The structure of nations and empires. N.Y., 1959, p 7.

и теоморфный масштабы составляют хорошо уравновешенное единство.



Просвещение, разрушив теоморфный масштаб, создало необходимость утешения прогрессом; а кризис веры в прогресс отнял это утешение. Остался антропоморфный масштаб, сам по себе, без теоморфного, абсурдный. Камю выразил дух этой ситуации старым мифом о Сизифе.

С моей точки зрения, все масштабы рассмотрения истории действительны и ни один из них не может считаться исчерпывающим. Историческое движение, наподобие движение воздушных потоков в атмосфере, состоит из ряда слоев Мы непосредственно живем в нижнем (антропоморфном) слое, но известные влияния на нашу жизнь оказывают и верхние слои. С помощью интеллектуальных шаров-зондов мы можем подниматься в историческую стратосферу и исследовать ее.

В заключение этой вводной части статьи хочется подчеркнуть, что слои исторической атмосферы разделены только в уме. Случайное мелкое происшествие может развязать давно накопленные силы и вызвать всемирноисторический переворот, а некоторые крупномасштабные движения в известные периоды ускоряются и могут быть прослежены в масштабах лет и десятилетий (например, рост национального дохода, порочный круг слаборазвитости и т.п.) Разные типы исторических движений можно рассматривать независимо, рядом друг с другом. Но только осознанные масштабы пространства и времени создают простую метасистему, в которой отдельные системы (типы движений, типы закономерности) располагаются в объективном и в то же время осмысленном порядке

Часть II.

Рассмотрим теперь более подробно некоторые частные проблемы взаимоотношений между разномасштабными гочка-

ми зрения, начиная с первой. Мы можем фиксировать несколько параллельных накапливающих процессов: а) рационализацию человеческих взаимоотношений с природой; б) рост производительных сил; в) рост разделения труда; г) дифференциацию культуры на отдельные сферы; д) дифференциацию общества на отдельные слои, е) укрупнение единиц социальной интеграции (род — племя — народ и т.д.). Все это вместе можно назвать — по Тейяр де Шардену — движением к ноосфере, к некоторому гипотетическому состоянию зрелого человечества, или (при пессимистическом взгляде на процесс развития) — движением к глобальной катастрофе и развалу.

Маркс считал важнейшим из этих процессов, определяющим все остальные, развитие производительных сил. Но что такое производительные силы? По Марксу, это предмет труда, орудие труда и рабочая сила. Предметы труда сами по себе развиваются очень медленно (например, болото может высохнуть, а луг заболотиться), орудия труда без человеческой воли вообще не развиваются. Движение производительных сил сводится поэтому к эволюции рабочей силы. А человек как рабочая сила — это условно выделенный аспект человека в целом, — действующего, созерцающего, играющего, мыслящего, молящегося, танцующего и т.п. Первичность производительных сил означает поэтому только то, что трудовая деятельность человека мыслится как исторически самая важная; что перевороты, не затрагивающие экономику, оказывают (согласно теории) меньшее влияние на ход истории, чем новый "способ производства". Я считаю более важным изменение кода культуры¹. Но даже если встать на точку зрения Маркса, из нее не вытекает, что все новое начинается в области экономики. Новое может начаться в области беззаботной игры (приручение животных), отвлеченной мысли (многие открытия), религиозных поисков (движения, сыгравшие важную роль в генезисе капитализма) и т.д. Кроме того, царство необходимости рассматривается Марксом как *предыстория*, в рамках которой постоянно накапливаются элементы свободы, позволяющие в конце концов перейти от *предыстории* к истории. Отсюда внимание, с которым все настоящие марксисты относились к такой экономической активности, как развитие сознания революционно-го движения и проч.

¹ Ср. "Параметры и ритмы исторического процесса"

Маркс вовсе не считал решающую роль хозяйственной деятельности вечным историческим законом. В будущем он предполагал отмену его, "прыжок из царства необходимости в царство свободы". Сейчас очевидно, что экономика не всегда решала и в прошлом. До известного периода — может быть, до самого Нового времени и, во всяком случае, в примитивных культурах — экономику как самостоятельную сферу общественного бытия вообще невозможно обнаружить. Хозяйственная деятельность племен неотделима от культа, а в архаических империях входит в сферу администрации, невозможно говорить о примате того, что лишено самостоятельного бытия. Поэтому до известного времени логически некорректно говорить о примате экономики. Более плодотворна другая формулировка Маркса, — что все эпохи истории можно рассматривать как эпохи прогрессирующего *разделения труда*. Если несколько расширить этот тезис и говорить о дифференциации человеческой деятельности вообще, то можно вывести из него концепцию Дюркгейма и его школы (фактически действительно сложившуюся после Маркса и, может быть, под его влиянием). Дифференциацию человеческой деятельности чрезвычайно удобно рассматривать как красную нить исторического процесса. В больших масштабах она непрерывна, и все остальные накапливающиеся процессы с ней связаны.

Это не значит, что развитие орудий труда теряет свое значение *знака* известной стадии развития. В некоторых случаях у нас просто нет никаких свидетельств исторического процесса, кроме топоров, скребков и т.п. Термины "каменный век", "бронзовый век", "железный век" — придуманы задолго до Маркса. Были также неоднократные попытки продолжить эту маркировку дальше "в наш век, век паровозов и железных дорог" и т.п. Собственно, концепция Маркса — наиболее убедительная из таких попыток, стройная система, позволяющая рассматривать всю "предысторию", от древнего каменного века до наших дней, с одной точки зрения. Однако с тех пор, как в руках историка появляется больше материалов, собственно даже с верхнего палеолита, оставившего нам свои наскальные изображения, и особенно с периода писаной истории, появляется возможность одновременно исследовать несколько переменных, развитие хозяйственное и духовное, политическое и религиозное и т.п.

Возникает проблема координации этих переменных и выделения центральной переменной. И вот тут оказывается, что наиболее очевидное, материальная культура, по которой так удобно маркировать первые шаги исторического процесса, в качестве центральной переменной не годится. Что попытки вывести (как говорил Маркс) структуру восточного неба из структуры восточной земли (т.е. религию из аграрных отношений) ни к чему убедительному не привели. Что социологический анализ литературы непреодолимо становится вульгарным...¹

Напротив, чрезвычайно удобно положить в основу развития степень дифференцированности или другую характеристику системы в целом. Тогда состояние отдельных сфер надо выводить не друг из друга (это не всегда выходит застой в одной области может сопровождаться бурным развитием в другой), а из целостности социальной структуры, в которую все они действительно входят, как в свои общие рамки, и рассматривать как "первичное" именно характер *рамок*, а не то, что в этих рамках развивается. При этом развитие целого вовсе не должно предшествовать развитию частей; напротив, новое обычно возникает в какой-то частной сфере и из нее воздействует на всю систему. Однако существенно то, что сама возможность появления нового зависит от центральной переменной (скажем, от степени дифференциации общественной системы, от степени рациональности отношений и т.п.). В частности, С. Эйзенштадт² показал, что возможность появления нового в любой из двух сфер, которые он исследовал — политике и религии, — тем больше, чем больше они отделились друг от друга. И эта общая степень социальной дифференциации существеннее, чем вопрос, где определенное явление началось. Могло начаться в области политики (сперва римская империя, потом христианство), а могло и в области религии (сперва буддизм, потом империя Ашоки и Канишки; сперва ислам, потом халифат). Но только после того, как общество *в целом* достигло известного состояния, уровня.

Существенно еще и то, что состояние системы всегда на-

¹ Это место, изложенное в 1968 году в Институте истории, вызвало горячие возражения.

² Eisenstadt S N. The political systems of empires. Glencoe, 1961.

лицо, начиная с самых примитивных форм общественной жизни. Есть, например, бушменский род, хотя у него — как у глуповцев в начале истории — нет ни вероисповедания, ни образа правления: или, говоря точнее, нет ни экономики, ни политики, ни религии как обособленных сфер, а есть только аспекты единой общественной жизни. И поэтому примитивное общество можно изучать только в целом (что и делают этнография, этнология, социальная антропология) А возможность самой постановки вопроса, что первично, экономика или религия? — приходит сравнительно поздно

Наконец, даже тогда, когда все эти сферы выделились, обособились и можно спорить, которая из них важнее, общеструктурный подход сохраняет то удобство, что он позволяет о всех сферах говорить в одних и тех же терминах (за которыми стоит реальное подобие отношений)

”В поисках общей переменной в экономическом, политическом, социальном и административном развитии, — пишет современный американский социолог Ф Риггс (мы прибавили бы к его списку интеллектуальное, религиозное и эстетическое развитие), — я нахожу только один ингредиент, который вездесущ — именно степень диффракции (т.е. дифференциации — Г П) Более производительные экономики всегда предполагают высокую степень разделения труда, или дифференциации ролей, и это значит диффракцию Спецификация функций характерна также для наиболее эффективных административных систем..” (с 419)¹ ”Если мы решим избрать диффракцию как центральную переменную, определяющую экономическое развитие, тогда можно сказать, что административное, социальное и экономическое развитие происходит одновременно (во взаимодействии, но не в односторонней причинной связи — Г П), и эти термины, возможно, означают просто различные аспекты одного и того же процесса” (с. 420). Эта идея всплывала и в других трудах по социологии развития. Ср. статью Фридмана в сб. *African Socialism* Stanford, 1964 (выдержки — в моей рецензии, ”Народы Азии и Африки”, 1967, №2

Модель первичное-вторичное восходит к атомизму Демокрита

¹ Riggs F Administration in developing countries Boston, 1964

крита Целого здесь нет (есть только атомы и пустота). Кий наносит удар, и бильярдный шар катится в лузу. Базис нажимает на педали, и колеса надстроек вертятся. Движения шаров могут быть очень сложными, но если не будет удара кием, то никакого движения не будет. Поэтому взаимодействие здесь методологически неизбежно подчинено механической причинности, с такой же заранее фиксированной причиной, как бильярдный кий или либидо в системе Фрейда. Маркс и Энгельс восставали против вульгаризации своих идей, но их ученики раскрывали материальные интересы в основе политических и духовных движений с такой же железной последовательностью, как фрейдисты — эдипов комплекс.

Напротив, модель истории как нарастающего разделения труда предполагает единое и его саморасчленение (наподобие пракрыти, которая членится на три гуны — аспекта, ипостаси, — и из этих аспектов, после ряда дальнейших членений и комбинаций, возникают предметы). Проблема взаимодействия здесь все время на первом плане, и механическая причинность объясняет только сравнительно второстепенные, частные связи. Как философ, Маркс тяготел именно к этому. Но как революционер он искал рычага, чтобы перевернуть общество. А в жизни шли процессы, которые его поддерживали: ускорился рост производительных сил, прежде такой медленный, что его просто не замечали, и то, что сегодня решало, показалось решающим всегда. Потом вылезли на первый план другие тенденции, другие движения (скорее, круговые и маятниковые), и нам кажется, что мы стали умнее. Между тем, мы просто живем в другое время и видим другой мир. Прогресс уступил авансцену вечному возвращению, и нетрудно тыкать пальцем в ошибки, которые умный человек сейчас бы не сделал. Нынешняя теория этносов ничуть не глубже теории Маркса; эта теория такая же односторонняя. Она так же объясняет кое-что — и не объясняет всего, на что претендует

В теории развития центральной переменной может быть любой параметр, который в данное время отчетливо выражен. Главное — не терять за деревьями леса, за параметрами — движения в целом, и постоянно иметь в виду, что не все нарастающее благотворно. Некоторые нарастающие сдвиги положительно дисфункциональны (губительны), другие и благотвор-

ны (эвфункциональны), и дисфункциональны. Например, с ростом возможностей, предоставленных развитию личности в дифференцированном обществе, связано много дурного. Отчуждение, чувство затерянности, заброшенности в слишком сложном, непонятном, враждебном мире. Более дифференцированные общества, как правило, менее стабильны. И в таком сильно дифференцированном обществе, как современное, угроза распада глядит изо всех углов. Мы вынуждены понять, что производительные силы — это разрушительные силы, и они способны разрушить всю биосферу. Что периодические замедления, приостановки развития так же необходимы, как скачки, и реставрация не менее плодотворна, чем революция.

Нельзя рассматривать периоды реставрации как несчастную случайность или действие косных сил, сопротивляющихся святому прогрессу (который сам по себе лишен противоречий и прямо ведет человечество в светлое будущее). Практически всякое развитие есть и благо, и зло. Так в развитии жизни. переход от одноклеточной структуры к многоклеточной связан с потерей возможности жить и жить, не зная смерти, как амёбы и инфузории. возникает порог, который организм не в силах перешагнуть, и род продолжается только в потомстве. Плата за сложность, за возможность духовной жизни — смерть. Так и в истории общества. Каждый шаг развития, дифференциации, есть одновременно шаг на край пропасти, угроза потерять стабильность и развалиться.

”Первый шаг социологической мудрости, — писал Уайтхед, — это признание, что крупнейшие процессы цивилизации суть процессы, способные погубить захваченное ими общество. Искусство управления свободным обществом состоит, прежде всего, в поддержании существующих символов и, во-вторых, в бесстрашной ревизии их. Те общества, которые не способны сочетать уважение к своим символам со свободой ревизии, неизбежно гибнут, — либо от анархии, либо от медленной атрофии жизни, задушенной бесполезными тенями”¹.

Понимание развития как закономерной смены дифференциации и дедифференциации, восстановления нарушенного единства, подводит нас ко второй точке зрения на историю, к

¹ Whitehead A.N. Symbolism L., 1927, p 88

поискам ритма, управляющего чередованием эпох демифологизации и ремифологизации, классических и романтических, ян и инь. Этот ритм, как мы уже замечали, легче всего прослеживается при втором масштабе, при наблюдении таких крупных смен, как переход от античности к средним векам, от средних веков к Новому времени. Однако, в рамках Нового времени, которое мы лучше знаем, чем прежние времена, есть свой ритм, помельче, но совершенно подобный большому: ренессанс — барокко; классицизм и просвещение — сентиментализм и романтизм; натурализм — декаданс. Кажется, подобные сдвиги были и в средние века. И может быть именно поэтому, кроме большого Ренессанса в Италии XV-го века, были еще и маленькие ренессансы (Каролингский ренессанс, оттоновский ренессанс, французский ренессанс XII-го века и т. п. вплоть до грузинского и китайского). При этом маленькие ренессансы могли не уступать кватроченто по значительности своих достижений в философии, литературе или живописи, но решительно уступали ему исторически они не были поворотным пунктом большого масштаба, они оставались в рамках средних веков, а не выводили к Новому времени.

Во втором масштабе (или со второй точки зрения, проходящей сквозь все масштабы) история смотрится как постоянные внутренние противоречия, как своего рода тришкин кафтан, в котором приходится подрезать рукава, чтобы чинить полы, или полы, чтобы чинить рукава. Это основное противоречие всякого бытия. Чтобы оставаться конкретным и полным, бытие должно одновременно осуществиться как единое, целое, и как единичное, индивид. Но единое, становясь единичным, теряет себя как единство; а единичное, становясь единым, теряет себя как единичное. Поэтому Творец — если представить его за рулем — должен все время крутить баранку, то вправо, то влево, иначе машина не будет идти прямо по середине дороги. А нам, в нашем замедленном восприятии времени, дрожания руля кажутся великими эпохами.

В сфере ценностей истина, добро и красота то соединяются в целостной святине, то секуляризуются, обособляются и становятся независимыми друг от друга. Соединяясь, они теряют свободу развития. Обособляясь, они теряют глубину. Мы

рассматриваем, скажем, отделение искусства от религии как прогресс; и в то же время ценим, как величайшие достижения, архаическую религиозную живопись, религиозную музыку.

В интеллектуальной сфере стремление к точности ведет к дифференциации знаний, а дифференциация — к утрате целостного взгляда на вещи. Наука (знание определенной области вещей и отношений) развивается, мудрость исчезает. Мудрец — такая же редкость на тротуаре Нью-Йорка, как ученый — в архаической Греции или Индии. Ученый знает свою область и 2-3 соседние, но Панург напрасно потратит время, если обратится к нему за советом. Когда знания растут как снежный ком, проблема мудрости становится немыслимо трудной. Бушменские колдуны знали ВСЕ, что известно было их культуре, для них не было противоречия между специальными знаниями и пониманием целого. То и другое вмещалось в одной голове. Фома Аквинский благодарил Бога за то, что не встретил ни одной непонятной страницы. В его время это было редкостью. Сейчас это вовсе невозможно. Знания общества становятся заколдованным замком, к воротам которого потерян ключ. Сложилась особая наука — информатика — как отыскать отдельные крупницы знания. Но целостного знания информатика не дает.

В каждую эпоху, подобную нашей, — когда общество — и знания общества — резко усложнились, — возникали движения против знаний, против книг, против "буквы" — во имя духа, во имя непосредственного чувства жизни как целого. Первый след, оставленный таким движением, можно найти в упаднищадках и Даодецзине. Второй — в поздней античности и в раннем средневековье. И наша эпоха снова ищет и восстанавливает мудрость в "ученом незнании".

Так же противоречив нравственный прогресс. Скорее можно говорить о прогрессе нравственных задач. Существует какой-то минимум солидарности, без которого никакой исторический коллектив не сохранится. И когда коллектив растет (другими словами — с расширением границ социальной интеграции) этот минимум также растет. Бушмену достаточно быть солидарным с 40-50 людьми, вместе с которыми он кочует по пустыне. Это легко, и средний бушмен — хороший бушмен. А в большом племени солидарность дается труднее. Поэтому увеличивается роль внешней регуляции, всяких норм, законов, правил. Не надо думать, что законничество было только у древ-

них евреев. Племя того в Танзании регулирует такие вещи, которые ни Моисей, ни Эзре не пришли бы в голову узаконить, — например, муж ложится на правый бок и ласкает жену левой рукой; хозяйки выливают помой непременно на Запад¹ — и т.д.

В ранних империях, смешавших племена, племенные законы тоже смешались. Римские императоры попытались выйти из нравственного хаоса, поставив над старыми богами себя самих и свои эдикты, но холодный государственный культ не завоевал человеческого сердца. И только Иисус, сын плотника из Назарета, сумел сделать то, что не сумел Цезарь. "Сын Божий", гений человечности, открыл в себе способность любить самого ничтожного человека, как собственного ребенка, открыл простор любви, для которой нет чужих. И в этом был ключ к превращению массы, покорившейся римскому закону, в народ, связанный не только общим страхом, но и общей любовью.

Однако новый исторический коллектив в чем-то уступает племени и роду. Его нравственный потолок выше (бушменам не приходило в голову, что врагов не следует убивать; даже Моисею это показалось бы странной и безнравственной идеей); но до нового потолка подавляющее большинство "новых Адамов", христиан, не доставало. Бушмены совершенно верны и духу, и букве своего закона (у них просто нет различия буквы и духа). Ветхие Адамы, по крайней мере, соблюдают букву заповеди. А новые Адамы не верны ни букве, ни духу христианства (и других высоких учений: буддизма, Бхагавадгиты)

Если взять достаточно большой масштаб, то можно говорить о неуклонном прогрессе выявленных, осознанных нравственных задач; но одновременно растет разрыв между этими задачами и поведением. Норма, икона становится все совершеннее; а средний человек — все менее совершенным. Византийцы поражали варваров своим коварством не потому, что в Константинополе почитали обманщика Гермеса; там молились Христу, но (если воспользоваться гомилетической метафорой) повседневно распинали Его. Собственно, в этом именно и заключается, с этической гочки зрения, смысл распятия. Христос на кресте — символ этических принципов цивилизации в ее повседневной жизни

¹ Совсем как советские газеты

Говоря в терминах Маркса, можно назвать это относительным нравственным обнищанием цивилизации, по мере ее развития и роста ее нравственных задач Известная степень обнищания терпима и компенсируется различными учреждениями, заменяющими нравственную солидарность Но есть какой-то неуловимый предел, за которым гибнут Гоморра и Содом, гибнет царство Ашурбанипала, Цинь Ши-хуанди, Гитлера, Муссолини. Потому что человеческое общество не может обойтись одними учреждениями и стереотипами, созданными пропагандой, без какого-то минимума естественной, рожденной изнутри солидарности¹

Можно, впрочем, сказать, что именно на пороге гибели, в отчаянии, происходят какие-то духовные скачки, и вдруг открываются в человеке (и в человечестве) новые духовные возможности, как бы второе дыхание Индийцы это понимали и выразили в мифе об аватарах Вишну. Бог-хранитель рождает сына не в хорошие, а в самые плохие времена, когда добродетель топчется ногами и самый отвратительный порок открыто торжествует Адонай избрал еврейский народ, который вовсе не был чист Напротив, иберу (евреи) с самых первых своих шагов пресмыкались в мерзости рынка и из этой мерзости рвались к святости. С этой точки зрения Хомяков смотрел и на Русь она "всякой мерзости полна" и только сквозь мерзость свята. Святость рождается в такие времена и в таких народах, которые больше всего в ней нуждаются.

Как шел процесс физической сапиенизации, мы знаем только в самых общих чертах. Там были свои провалы. Но что-то вело плоть дальше И нынешние кризисы не означают, что процесс духовной сапиенизации исчерпал себя Ощущение сложившейся жизни как невыносимой (ярче всего — в самых благополучных странах и слоях, т.е там, где есть возможность осознать свое положение, где не отупила нужда и страх), дикие вспышки буйства, терроризм — все это говорит скорее о нормальном течении болезни Это, может быть, не более страшно, чем повышение температуры и лихорадочное состояние организма, выбаливающего заразу. Страшно скорее состояние

¹ На этом обрывается рукопись, написанная около 1970 г и голько слегка отредактированная в 1981-1982 годах. Дальнейшее заново написано по сохранившимся тезисам.

больных, которых постоянно убеждают, что они здоровы и счастливы, и до того убедили, что они сами этому поверили.

Фаустовская цивилизация отходит в прошлое. Но Европа жила до Фауста и может жить после Фауста. Цивилизация досуга, к которой Запад пришел, — это цивилизация духовных задач. Если это будет всерьез осознано, все остальное приложится. Из самого созерцания родится новый порыв к деятельности. Ибо в созерцании есть пружина, которой не замечают позитивисты: пружина творческого состояния. Христианские и буддийские монастыри, как будто целиком посвященные созерцанию, были великими очагами культуры и даже хозяйственными центрами. В обществе, где созерцание прочно займет первое место, производство творческого состояния станет основой общественной жизни и удесятерит силы ученых так же, как сейчас научная информация удесятерит силы рабочего. Это может сбыться — если колыска истории не перевернется вверх дном на каком-то крупном повороте.

Переходя к третьему масштабу, хочется повторить Леви-Стросса: веер культур в пространстве не менее широк, чем веер эпох во времени. Некоторые распределения в пространстве подобны распределениям во времени. Например, шиллуки (в Африке) более рационалистичны, чем динка. То же можно сказать о Китае и Индии, о Франции и Германии. С. Маслов, исследуя историю архитектуры в Европе, подсчитал, что во Франции романтические периоды короткие, классические — длинные; а в Германии — долгий романтизм и короткий классицизм (или просвещение). Как правило, классические культуры склонны к более упорядоченной администрации, а романтические — к гениальным духовным взлетам и политическому хаосу и произволу.

Благодаря известному подобию между народами и эпохами, история Европы идет как смена гегемоний той или другой национальной культуры. Ренессанс был итальянским веком (точнее, веком городов Северной Италии), барокко — испанский век, классицизм и просвещение — французский, романтизм — немецкий, позитивный реализм — англо-французский; и какой-то особый, онтологический реализм сложился в России... Этот исторический механизм действовал еще в древности. Каждая новая эпоха Средиземноморья — эпоха нового народа. Возникает иллюзия, что все новое в истории вносится новым этно-

сом, глубины которого иррациональны и могут быть восприняты только тайноведением.

Существуют, однако, Индия и Китай, в которых колебания культуры, несмотря на все усилия Л.Н. Гумилева, никак нельзя свести к появлению новых этносов. Да и в Европе — какие новые этносы появились во Франции в 1789 году? Или в Германии — в 1945? А между тем, французы 1793 года очень далеки от французов 1783 года. И так же немцы — 1950 года от немцев 1940-го. Еще более ошеломительно превращение святой Руси в Русь безбожную. Идея, что этот поворот совершила кучка инородцев, завладевших огромной страной, — одна из самых жалких теорий, когда-нибудь созданных человеческим умом.

Дух истории играет на той клавиатуре, которую находит под руками. Если в Китае нет активных инородцев, он обходится и без них. Если же он встречается этническое многообразие, то использует те группы, которые в данный момент подходят для его задач. Например, в Средиземноморье монотеизм пришел к евреям, философия — к грекам, создание системы права — к римлянам. А в Китае или в Индии — и религия, и философия, и право развивались в рамках одной культуры. Одни и те же китайцы сперва жили простой жизнью, а потом — очень усложненной. Варвары иногда вторгались в Поднебесную, но явно не они создали китайские церемонии. И в истории революций, там, где были инородцы, революционная волна их подхватывает (в России — и военнопленных мадьяр, австрийцев; а русская контрреволюция находит временных союзников в чехах и словаках)¹. Но в Китае и революция, и контрреволюция были чисто китайскими. Иногда делалась попытка доказать, что тот или иной лидер (Лю Шао-ци, например) — китайский еврей. Это напоминает мужика, который видит трактор и спрашивает: а где же лошадка?

Большой скачок и великая пролетарская культурная революция обошлись без еврейских комиссаров, без латышских стрелков и т.п. российского антуража. Но эксперименты Мао не слишком отличались от экспериментов Ленина, Троцкого и Сталина. Повсюду дух утопии, при попытке воплотить его в

¹ Ср. также несостоявшуюся роль Дикой дивизии в 1917 году и вполне состоявшуюся роль бана Елачича в Австрии в 1848 г.

жизнь, рождал каких-то чудищ; и в прошлом (опричники царя Ивана Грозного)¹, и в XX-ом веке

Приход нового через новый этнос — по преимуществу средиземноморская черта, слабо выраженная в Индии (в отношениях арийского Севера и дравидского Юга) и совсем не выраженная в Китае. Однако было бы нелепо отрицать, что иногда исторический процесс действительно шел так. Помимо указанного уже возникновения религии, философии, права Запада в трех разных сферах, исключительно большую роль в истории Средиземноморья сыграли варвары

Варвары патриархальны, солидарны и поэтому обладают известным преимуществом перед цивилизацией. Цивилизация, если взглянуть на нее глазами варвара, — вавилонская блудница. Льстивы суть греки и до сего дня, — пишет Нестор о своих учителях, византийцах. Это отвращение иногда доходит до пророческого нравственного пафоса. Историки говорят, что такой пафос был у Чингисхана. Его идея — объединить честных кочевников и покончить с проказой человечества, с гнездами пороков, с источниками коварной политики, натравливавшей одну орду на другую. Психологию Чингисхана можно сравнить с религиозным фанатизмом. Его завоевание — гигантский погром.

Но сама победа варваров лишает их солидарности, верности вождю и боевого духа. Эту эволюцию проследил Ибн Халдун (XIV век). Последний омейядский правитель Испании был утонченный поэт. Его свергли Альморавиды, недавно обращенные в ислам берберы, горевшие примитивным фанатизмом. Через несколько поколений городской жизни их фанатизм ослабел. Тогда их свергли Альмохады... Ибн Халдун разработал общую теорию круговорота племенных (варварских) и детрибализованных систем (цивилизаций). Он разделил процесс на четыре этапа. Сперва примитивная цельность, попадая в дифференцированное окружение, пытается подавить его. Потом она поддается очарованию культуры и сама раскрывается, расцветает. Но вслед за расцветом приходит распад. Дифференциация заходит слишком далеко, вчерашние варвары быстро становятся деспотами, солидарность полностью выветривается, и

¹ Опричина с русским административным восторгом воплощала византийский, по происхождению, идеал (царство-монастырь во главе с царем-игуменом).

Вавилон (если перейти с языка Ибн Халдуна на язык пророков) готов пасть к ногам новых завоевателей

Иногда роль варваров играли провинциалы. В Японии это были пограничные войска, действовавшие против айну. В XII-XIII веках провинциальные самураи обрушились на столицу, лишили аристократов-придворных фактической власти и установили новую систему власти, сёгунат. Сёгун, главнокомандующий в походе против северных варваров, — обладал всей полнотой власти, тэнно (император) только оформлял его вступление в должность (в Европе аналогичную роль играл папа). Через некоторое время первая династия сёгунов пресеклась, ее сменили регенты, потом (после гражданской войны) новая династия, едва контролировавшая войну всех против всех. В конце концов, свирепый воитель, Ода Нобунага, заново объединил страну (сам он погиб в бою, но пришли к власти его помощники — сперва Хидэёси, потом Токугава Иэясу). И вот оказалось, что шла не простая резня. Шел процесс аккультурации. Варвары (в данном случае, провинциалы) приобщились к культуре и вносили в нее нечто, недостававшее утонченной придворной среде — свою мужественность, свою энергию. Позднейшая Япония все это унаследовала. изящество придворных дам X века, Мураками Сикибу и Сэй Сёнагон, и дух воинов XII-XVI веков.

Примерно то же самое можно сказать о варварском завоевании Западной Римской империи. На первый взгляд, — просто погром. Но в конечном счете — основание новой цивилизации. В данном случае — за счет нового этноса (германцев). А в Японии — за счет резервов одного и того же этноса¹

Варварство — вовсе не нуль культуры. Это культура, сильная своей недифференцированностью (т.е. цельностью). Не будь варваров — остался бы Запад единым римским народом, усталым и порочным, и рухнул бы, как Византия... От варваров идет и национальная структура Европы (поддержанная католической церковью), и суд присяжных, и вольности общин, из которых выросла современная европейская демократия.

Погромные движения варваров имеют вулканический ха-

¹ Если не играть словом "этнос" и не называть этносом любую новую социальную группу, в том числе школу импрессионистов — как делает Л.Н. Гумилев, — то японцы XIII в. не перестали быть японцами.

раक्टर. Они не подчиняются стройной закономерности, как процессы волновые (демифологизации и ремифологизации), не идут медленно и неуклонно (как, по большей части, развиваются накапливающиеся процессы дифференциации и т.п.). Вдруг появляется Чингисхан и организует монголов во всемирную боевую силу. Примерно так вдруг появился Железняк, взял Умань, вырезал всех жидов и ляхов. . В этих движениях решает личность, чувствующая настроение массы и дающая этой массе центр притяжения — свою веру в успех и свой организаторский дар. Не было бы Чингисхана — не было бы и монгольской империи.

Движение вулканического типа хорошо описывают две теории харизматического руководства (М.Вебера) и пассионарности (Л.Н.Гумилева). Вебер берет в качестве модели отношения пророка с его учениками — и переносит это на Кромвеля, на Наполеона; чувство исторического призвания он сравнивает с чувством призвания Божьего, харизмой, благодатью, осенявшей Моисея или Иисуса Навина. В XX-ом веке ученики Вебера признали харизматиками Ганди, Гитлера, Ленина, Кваме Нкруму и прочих вождей национальных и социальных движений, вокруг которых стихийно возникало преклонение (то, что у нас официально назвали культом личности Сталина, забыв, что Сталин унаследовал этот культ от Ленина). Теория Вебера предусматривает и рутинизацию харизмы, т.е. перенос преклонения на наследника. Например, папа римский, вступая на престол, как бы наследует харизму Петра и Павла, вне зависимости от своих личных качеств...

По теории Л.Н.Гумилева движение начинает пассионарий (страстная натура, внезапно загоревшаяся новой идеей) или группа пассионариев. Вокруг них возникает консорция, община, напоминающая брак по любви, — союз, заключенный иррационально (полюбится сатана лучше ясного сокола) и не допускающий вмешательства разума, чистым порывом веры. Вера постепенно иссякает, и тогда консорция (если она не погибнет) превращается в конвексию, инерционное социальное тело, распадающееся при новом взрыве пассионарной энергии.

У концепции Л.Н.Гумилева есть свои достоинства. Внимание Вебера слишком поглощено личностью героя — такого, как Моисей или Наполеон. Между тем, вдохновение может сразу охватить целую группу (из примеров Л.Н.Гумилева. викинги,

импрессионисты)¹. И важно состояние группы в целом (консорция или конвексия?), а не только ее руководства. Но в других (очень существенных) отношениях веберовский подход более плодотворен. Вебер никогда не был пленником одной теории. Его концепция глобальной истории (рационализация отношений со средой) перекликается и соперничает с марксизмом. Его идеальные модели восточных культур — нечто вроде "культурных кругов" Шпенглера. И в харизме Вебер не видит отмычки ко всему историческому процессу. Это только подступ к пониманию вулканических взрывов, извержений, которые бывают, — наряду с медленным накоплением некоторых характеристик и волнами вечного возвращения. Пожалуй, никто лучше Вебера не понимал, что историческое движение многомерно и должно рассматриваться с разных точек зрения. У Вебера больше вопросов, чем ответов, и ответы — разные. А Л.Н. Гумилев дает один решающий ответ на все вопросы истории. Это (несмотря на частное совпадение с Вебером) сближает его с монопараметрическими теориями XIX-го века, при случае способными стать основой научной идеологии (теория классовой борьбы, теория расовой борьбы и т.п.).

С точки зрения Л.Н. Гумилева общины ранних буддистов и христиан, дружина викингов, орды Чингисхана, староверы и импрессионисты одинаково суть этносы. Это ничуть не лучше, чем объяснять историю всех предшествовавших обществ классовой борьбой или эдиповым комплексом. Только вместо борьбы классов — борьба этносов. Навязывается мысль, что историей правит биология, кровь, раса и какие-то дополнительные физические факторы (влияние звезд, солнечная активность и т.п.). Это несравненно ниже того уровня, на котором мыслит Вебер.

Для Л.Н. Гумилева несущественно, что Будда учил бесстрастию, и называть его пассионарием (т.е. ставить на один уровень с Чингисханом и Железняком) — значит совершать интеллектуальную ошибку и кощунство против Святого Духа. Будда не пассионарий, и по сути Христос тоже не пассионарий. Страсти — то, над чем оба они поднялись. Между тем, дело их пережило народы, среди которых началось. Этносы приходили

¹ Можно прибавить к этому руководителей Французской революции. Никто из них не обладал безусловной харизмой.

и уходили, а буддизм и христианство оставались и обещают намного пережить теорию этносов.

Теория этносов не замечает, что вулканические движения неглубоки и недолговечны. Монгольская держава быстро возникла, но почти так же быстро распалась. Крестовые походы не достигли своей цели, не сумели вернуть христианству Иерусалим. Завоевания крестоносцев были скоротечны, как фейерверк. То, что они оставили после себя, — это знакомство с восточной цивилизацией и развитие торговли (итог многих варварских набегов). Ничего не могли изменить и погромы в Речи Посполитой. На другой день после хмельниччины и гайдамаччины евреи снова торговали, арендовали земли, шили штаны и тачали сапоги, потому что собственного, нееврейского третьего сословия в Речи Посполитой не хватало. И на другой день после набега степняков землевладелец снова восстанавливал арыки в долине Аму-Дарьи или корчевал пни в долине Оки. Иногда на восстановление уходили десятки лет. Но в конце концов граница между распаханными землями и степью существенно не менялась, а если и менялась, то в пользу плуга

Однако бури на поверхности социальной структуры не всегда проходят без влияния на ее глубины. Достаточно часто глубинные движения переплетаются с поверхностными, подталкивают их и сами испытывают их толчки. Можно требовать ясности мысли от историка, моделирующего движения разных уровней и типов, но Провидение оставляет жалобы рационалистов без внимания и безнадежно запутывает картину исторического процесса. Поэтому Маркс может всюду видеть классовую борьбу, а Л.Н. Гумилев — этносы.

Движения разных уровней постоянно накладываются друг на друга. Экспансия ислама — это и переход племенных культур к монотеизму, и союз варваров для разгрома цивилизации. Стремительность успехов Мохаммеда и первых халифов напоминает успехи Чингисхана и Батыя. А устойчивость арабских завоеваний подобна распространению буддизма или христианства. Можно интеллектуально отделить от погрома и восстановления революцию (как движение, поставившее себе исторически назревшие рациональные цели и руководимое образованным и рационально мыслящим меньшинством) — но Великая Французская революция не обошлась без сентябрьских убийств (а это чистейшей воды погром). Движение Богдана Хмельниц-

кого было национальным восстанием – и серией кровавых погромов. Как правило, революции выманивают из трущоб внутренних варваров, городскую и сельскую чернь, обладающую всей жестокостью варваров внешних – без их племенных добродетелей. Действия оторванных от корней масс, пролетарских и полубразованных – постоянный кошмар, носившийся перед воображением Достоевского. В революционных движениях XX-го века этот кошмар стал реальностью. Причем дело очень мало менялось от того, какие лозунги возбуждали толпу: социальные (в России), национальные (в Германии) или религиозные (в Иране).

Только очень редко вулканом удавалось управлять, и чернь оставалась под контролем разумных вождей, ставивших перед собой разумные, исторически достижимые цели (например, во время американской революции). Чаще можно говорить о двойственных результатах и возможности различных оценок. В монгольских завоеваниях, после первых страшных разрушений, можно подчеркнуть порядок, благоприятный для международной торговли и культурного обмена. А восстание Гонгы и Железняка описывалось как героическая страница национально-освободительной борьбы. Тейяр де Шарден пытался смотреть на тоталитарные империи XX-го века как на попытки интеграции человечества. Габриэль Марсель, мысливший в ином масштабе, не мог понять своего знаменитого земляка, привыкшего к масштабам палеонтологии. Для Марселя Сталин или Гитлер были просто бичи Божьи.

В некоторых случаях стихийные взрывы используются планомерно действующим государством или церковью и становятся звеном в их политике. Например, восстание Богдана Хмельницкого стало предлогом для расширения границ Московского государства. А восстание Железняка было петербургскому кабинету невыгодно, и русские войска его подавили. Богдану Хмельницкому поставили помятник, Железняка сослали в Сибирь. Впрочем, Шевченко поставил Железняку памятник в поэме "Гайдамаки". То, что было кровавым кошмаром в истории еврейского народа, для украинского поэта – национальный эпос.

Оценка погромных движений и варварских набегов – один из самых спорных вопросов истории. Евразийцы считали, что монголо-татарское иго принесло России больше хорошего, чем

дурного. Такова и точка зрения Л.Н.Гумилева. Историк, пытающийся здесь объективно подойти к делу, встречает непреодолимые трудности. Татарское влияние слилось с византийским, с победой осифлян над нестяжателями, с возникновением идеи Третьего Рима. Вычленить из этого клубка собственно татарское вряд ли возможно. Во всяком случае, взгляды Л.Н.Гумилева — это не точка зрения Авдотьи-рязаночки, уведенной в татарский полон. Этническая пассионарность восстает здесь против космополитической теории, и она обрушилась на Гумилева со страниц журнала "Наш современник".

Взрывные процессы своевременно обостряют чувство захваченности историческим вихрем — "ветер, ветер на всем Божьем свете" — и чувство заброшенности в истории. Заброшенный дух пытается вырваться из всякой истории в созерцание, из глобальной истории в локальную, из нарастающего процесса дифференциации в вечное возвращение, из неустойчивого, валящегося в пустоту настоящего — в альчеринг (мифическое прошлое — вечное у австралийцев). В хаосе воюющих царств Конфуций создал свой проект восстановить значение имен, т.е. тех значений слов, которые они имели в древности. Это значило остановить время (как для греков оно остановилось на Олимпе), вернуться в прошлое. И каждое китайское восстание, свергая прогнившую династию, стремилось осуществить это возвращение вспять, восстановить древние нормы. В сущности, того же хочет Солженицын. Его идеи можно изложить в духе Конфуция: чтобы Россия снова была Россией, русский царь — русским царем и русский народ — русским народом. И чтобы время остановилось на 150-200 лет, пока метафизическая Россия, залечив свои раны, станет реальной Россией и как реальная Россия вернется в мировую историю. Мне кажется, что мировая история ждать не будет, и северовосточный план Солженицына — утопия. Но доказать мою правоту может только опыт, и я искренне хочу, чтобы жизнь предоставила Александру Исаевичу случай попробовать, можно ли строить национальную жизнь как закрытую систему, без участия в решении глобальных вопросов? Можно ли на 150-200 лет вернуться к локальному времени, замкнутому в круг, выключиться из европейского прямолинейного и калькуляционного времени (которое считают, как деньги)? Выключиться из мирового соревнования, — кто лучше использует это калькуляционное время?

Время, замкнутое в круг, не располагает к бесконечному счету Оно не распадается на абстрактные единицы Это утро или вечер, весна или осень. Это Дао путь как цель, путь как круг, каждая единица которого бесконечно ценна Только цель, вынесенная вперед, предвещает путь в железнодорожную колею, аккуратно разбитую на километры. На этой модели времени основана вся современная экономика и техника

На меня произвела большое впечатление статья об опыте маленькой религиозной общины Айтоторо, в Нигерии. У нее не было никаких капиталовложений. Но в каждом доме повесили часы (дешевые ходики) и отрывной календарь, с которого каждый день аккуратно срывался один листок (какой надо) Автор статьи вспомнил, что в городах Нигерии он видел календари, но с них либо срывали все листки сразу, либо не срывали вовсе А часы, если они и были, то показывали Бог знает что Калькуляционное время, чувство, что время — деньги, позволило общине Святых Апостолов в Айтоторо за несколько лет создать микро-экономику западного типа, с уровнем жизни, намного более высоким, чем у соседей А начинали — с мотыгой Другой пример Насер в 1967 году не мог понять, откуда в Израиле взялось столько самолетов Их просто обслуживали на аэродромах быстрее, чем в Египте, и они делали не по два боевых вылета, а по восемь в день Третий пример читая индийские газеты, никогда не находишь даты — когда произошло событие Пишут по-английски, но думают по-индийски недавно¹ Дату (выступление премьера и т п) находишь, взяв в руки английский или американский журнал И в этой мелочи видна безнадежная отсталость индийской экономики

Я представляю себе трясину нашей отечественной экономики и думаю как поднимать ее, если потерять и то (довольно чахлое) чувство калькуляционного времени, которое мы жили? Головоломка состоит в том, что для восстановления связи с вечностью время надо как бы остановить И в то же время, чтобы жить во времени, — его нельзя останавливать Поворот к новому темпу, к новому стилю развития может сделать только Запад в целом (включая Россию), мир в целом Попытка остановить одну страну либо провалится, либо (в случае маловероятного успеха) повторит судьбу Тибета

¹ recently

Этого, к сожалению, не видно с четвертого уровня рассмотрения истории, антропоморфного. Здесь все уникально. Каждая личность уникальна, и уникальна национальная, соборная личность. Неповторима и непередаваема немецкая задушевность¹, русская широта, японское "чувство чая" и то, что "негр думает, танцует" (Сенгор). На этом уровне:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить
У ней особенная статья .

Существует своего рода уникальная историография, посвященная неповторимым чертам исторического события, исторического героя, исторического народа. Лучшие сочинения в этом жанре приближаются к портрету в живописи и роману в литературе. Попытки поэтического историографии сохраняют свою ценность даже для читателя, который понимает, — в отличие от Д.С. Лихачева, — что многие русские черты встречаются по всей Азии и Африке и отсутствуют только на Западе. Это неважно. Все всегда уже было, но все всегда было не так (с другими интонациями, оттенками). Человек остается личностью и тогда, когда мы отнесем его к известному типу. Кромвель это Кромвель, а Наполеон это Наполеон. И так же остается неповторимо своеобразной национальная личность.

Есть, наконец, точка зрения, с которой историография вообще немыслима. Для узника Колымы или Освенцима, для последнего из праведных А. Шварцбарта и для девочки в "Котловане" А. Платонова истории нет. Их личная судьба упирается прямо в вечность.

А Белый в начале революции писал о "великом трусе" (землетрясении, геологическом перевороте). О Мандельштаме ответил ему

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей, —

¹ Gemüthlichkeit

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе

Наверное, можно выделить и логически обособить значительно больше масштабов и точек зрения, чем я это сделал¹ Но нечто все время ускользает от ума история в целом Построение модели моделей вряд ли удастся. Разум не в силах перешагнуть через свои противоречия На это способно только воображение И оно схватывает общую картину – в мифе

Мой миф – клубок духовных сил, может быть, созданных нашей духовной жизнью, может быть, совечных миру Этот клубок подхватывает отдельных людей и целые народы, превращая их в свои "человекоорудия" – и приобретая взамен отпечаток их личности Герои истории – ее рабы, пленники исторических духов, идей, символов След, оставленный Наполеоном, – плата за проданную истории душу Харизматический лидер, пассионарий велики только по историческому счету, сравнительно с мнимыми героями, которые задач истории не понимали и плыли в вихрях времени, как щепки, воображая, что держат в руках руль корабля Наполеон велик сравнительно со взяточниками из Директории Но сравнительно с сильно развитой личностью, идущей сквозь историю, Наполеон – духовное ничтожество

Сильно развитая личность идет сквозь время к вечности, не по периферии круга, а к центру Царствие ее – не от мира сего, не на поверхности, а в глубине как у Будды, как у Христа Освобожденный дух проходит сквозь исторические победы и исторические поражения, как подвижник сквозь видения – не принимая их и не отвергая, не давая охватить себя

Освобожденный дух понимает ложность всякой единственно истинной религии, всякой единственно истинной доктрины Ибо такие доктрины превращают своих адептов в рабов, – как это сделалось с марксистами и завтра может случиться с антимарксистами У освобожденного духа нет исторических счетов, нет желания найти виноватого и осудить его Он помнит слова Христа на Голгофе прости им, Господи, ибо не ведают,

¹ Этот post scriptum целиком написан в 1981-1982 годах

что творят. Ибо те, кто на авансцене истории, — ее рабы, и недостойно свободному человеку судиться с рабами.

С этой точки зрения я пытаюсь, по мере своих сил, подойти к решению всех великих исторических вопросов — о причинах событий, об ответственности, о вине. Я спрашиваю: кто виноват в распятии Иисуса Христа? Что к этому привело? Предательство Иуды? Перестраховка Пилата? Кайафа и Анна с их религиозным национализмом? (Лучше один человек погибнет, чем весь народ. . это и сейчас повторяют многие почвенники) ... Или Христос распят за грехи всего человечества, по вечной воле? И событие это родилось в глубине истории, созревало тысячи лет и только свершилось в царствование Тиберия кесаря, при Понтийском Пилате?

Я думаю, что к распятию веши вихри вихрей, и человек мог только выбрать роль в предустановленной драме, но не изменить ее ход и исход. Как разбойники, распятые одесную и ошую, могли сделать и сделали свой выбор: один язвил Христа, другой — попросил его благословения. Но ни тот, ни другой, не могли изменить судьбы Христа. Только свою собственную.

Двенадцать апостолов слышали слова Христа: один из вас предаст меня. Предал один. Мог бы предать и другой. Тот, кто предал, погубил себя (все равно, почему, по каким дорожкам дьявол проник в его душу). Но если бы никто из апостолов не предал — разве Христос спасся бы? Все равно его бы схватили, отдали властям и распяли. Не так трудно найти и схватить человека, который проповедует на площадях. Никакой необходимости в Иуде Искариоте не было. Была необходимость появления Христа. Необходимо было врачу прийти к больным. И почти неизбежно, что врач, пришедший в чумной барак, погибнет. А Иуда или кто другой ускорил его гибель, — не все ли равно? Иуда сделал свой личный выбор. Судьбы человечества он не изменил. Уникален Христос, а Иуда, готовый предать Христа, всегда найдется.

Так и с любым крупным историческим событием. Мировая война могла начаться в 1906, 1909, 1911 годах. Она началась в 1914 году из-за выстрела Гаврилы Принципа. Ну, а если бы Гаврила промазал? Тогда война началась бы несколькими годами позже. Но она началась бы. Герцен предвидел мировую войну за несколько десятков лет. Он говорил защитникам "порядка", раздувавшим националистическое безумие, чтобы за-

держат развитие безумия социалистического "будет вам война семилетняя, тридцатилетняя." А война вытолкнула в реальность то именно, от чего национализм должен был спасти: утопию. Удесятерила порыв к утопии и дала ему победить. Именно война 1914-1918 годов превратила историю в невыносимый кошмар. И спасением от этого кошмара оказалась социалистическая утопия. Оказавшаяся сверхкошмаром.

XX век требовал перехода к более высокой организованности, к увеличению роли государственного и международного регулирования. Но этот поворот мог иметь реалистический характер (постоянно проверяемый опытом) и характер фантастический, пренебрегающий опытом во имя единственно правильной мнимонаучной идеи. При попытке вколотить эту утопию в жизнь непременно что-то не выходит. И непременно кажется, что виноваты злодеи — классовые враги, вредители, двурушники, космополиты. И время от времени общество, зараженное вирусом утопии, охватывает судорога кампании по ликвидации врагов, вредителей, двурушников. И на первое место неизбежно выдвигается провокатор, которому утопия, собственно, ни к чему, а главное — сами судороги, мучения миллионов и власть мучить миллионы людей. А потом, когда судороги кончаются и страна лежит в изнеможении и гниет, и заражает мир тлением — нет сил преодолеть инерцию царства химер, возникшего от брака утопии с реальностью. Все это мы увидели. Все это мы испытали — и, испытав, поняли. Но увидели и поняли задним числом, после эксперимента, совершенного дедами.

Можно теперь винить сколько угодно и кого угодно либералов, революционеров, инородцев, Григория Распутина, царицу, царя. В конце концов, при самодержавном правлении от царя очень многое зависит. Больше, чем от всякого другого. Так что если виноват в разрухе один человек, то прежде всего Николай Второй. Неумный, безвольный, колеблющийся, не способный ни самостоятельно править (распустив Думу), ни стать конституционным правителем, поручив прогрессивному блоку сформировать кабинет, — он то уступал, то брал назад уступки, и сам втянул либералов в борьбу за власть, открывшую дорогу смуте.

Однако Николай вовсе не был злодеем. И Григорий Распутин — не такой уж злодей. Что поделать, если у него была

сила на десятерых баб сразу. Герои исторической драмы, по большей части, — маленькие люди, не понимавшие то, что они делали (во всяком случае, — не понимавшие отдаленных и косвенных последствий своих поступков). Царица спасала своего сына и приблизила знахаря Распутина Милюков шел по испытанному пути просвещения К ним в полной мере относятся слова Христа прости им, Господи, ибо не ведают, что творят

Задним числом все вышли виноваты — но намного ли больше, чем Генри Форд в экономическом кризисе или устроители Ближневосточного агентства для помощи беженцам — в терроре? Я не шучу Автомобиль — один из главных источников отравления естественной среды. Чудо техники на конвейере, он становится бичом, скатившись с него. И речи Милюкова, — блестящие в стенах Думы, — становились разрушительными на просторах России, в народе, который не понимал правил парламентской игры А благотворители, давшие образование детям беженцев? Они создали интеллигенцию, оторванную от всех корней, и она пытается найти свой потерянный путь в судорогах террора Совершенно как русские интеллигенты, выращенные Петром, Ломоносовым, Белинским, Чернышевским (ср статью Г П Федотова "Трагедия интеллигенции"). Не только ад — все дороги к пропастям истории вымощены благими намерениями Если бы добрые люди хоть немного понимали сложность исторического процесса, его скрытые западни и провалы!

Начиная действовать, мы никогда до конца не знаем, как наше начинание сплетется с другими и что из этого выйдет Может и ничего не выйти Это не самое худшее Последний император Византии храбро выполнил свой долг, Византия пала, но история запомнила Константина, как героя Так в памяти интеллигентов остались повешенные народовольцы Так в памяти многих остался сегодня Столыпин, — хотя революции он не остановил, и дело его пошло прахом. Хуже, когда дело удается Победенные роком, — по словам Тютчева, вырывают из рук богов победный венец . И этот венец чище лавров Цезаря или Октавиана Августа

А результат В конечном результате все временное рухнет В конечном счете мы все мертвы", — пошутил лорд Кейнс, когда его упрекнули в недолговечности предложенных мер Медсестра должна дать умирающему стакан воды А что

старик умрет — на то воля Божья.

Все великое земное
Разлетается, как дым. .

Антонины на целый век задержали упадок Рима — но не остановили его. Мудрые правители не могут следовать один за другим непрерывной цепью. В конце концов, всегда найдется Коммод (развратный сын добродетельного Марка Аврелия), при котором процессы распада пойдут вскачь. А в XX-ом веке шло несколько таких процессов, обрекавших Российскую империю на гибель.

Распадались все традиционные империи. Утопия стала материальной силой. И из смуты рождались новые, идеологические империи. Можно было задержать болезнь (как лекарствами, облучением, ножом задерживают рост раковой опухоли). Но шансы на полное выздоровление были ничтожны и граничат с вероятностью чуда.

В 1917-1918 годах распались четыре империи. Это не простое следствие неудачной войны. Россия, Турция, Австрия проигрывали раньше войну за войной, не распадаясь. А в XX-ом веке распались и колониальные империи держав-победительниц. После победы, несмотря на победу. Англия уходит из Индии, Голландия из Индонезии... Франция пытается удержать Вьетнам, удержать Алжир — но ничего не выходит.

А утопия? Идея утопии существует, по крайней мере, с XVI века. Но она витала над историей Западной Европы как облако, как сон. Реальная история Запада шла так, что не располагала выпрыгивать из нее. Безумие левеллеров и Робеспьера быстро исчерпало себя. Гракх Бабеф со своим заговором равных — одиночка. Только в развитии незападных стран, в процессе вестернизации, выворачивания из своей собственной исторической колеи, возникло некоторое состояние беспочвенности, в котором утопия могла показаться наукой и захватить активное меньшинство, способное поставить других на колени. Идея утопии побеждает не там, где она долго вынашивалась, не в Англии, Франции, Германии, а в России, Китае, во Вьетнаме — и может оказаться притягательной (после всего исторического опыта России) в Гвинее, Анголе, Эфиопии... Эта идея и на Западе сливалась иногда с волей к власти; но на Западе не было

традиций русской революционной интеллигенции, русского бунта и русского административного восторга, веры во всемогущество государства, живой памяти Ивана IV и Петра I. Что-то подобное было в Китае (Цинь Ши-хуанди, Ван Ман, Ван Аньши), и Китай подхватил русский опыт. В России и в Китае утопия вдохновила великих политиков Ленина и Мао. На Западе крупные политики – не коммунисты.

Я не буду описывать в подробностях, как золотой сон утопии при попытке осуществить его превращался в шигалевский кошмар. Я намечаю процесс только в самых общих чертах. Достаточно этого, чтобы увидеть, какие гигантские исторические силы пробивались сквозь безвольные шатания Николая II и самовлюбленное красноречие Милюкова или Керенского. Все почти актеры на исторической сцене 1916-1917 годов жили в прошлом: Николай – в XVIII-ом веке, прогрессивный блок – в XIX-ом, а шел уже XX-ый, и единственным политиком, угадавшим, что он живет в XX-ом веке, был Ленин. Потому он и выигрывал. Хотя сейчас, когда идея утопии в России выдохлась и внушает отвращение, трудно понять, что Ленин в нее верил и что миллионы людей заразились этой верой и не хотели видеть все более голой борьбы за власть, вырвавшейся из подсознания в сознательную деятельность большевизма.

Это не панегирик победителю, это даже не оправдание. Просто объяснение. Заниматься историей – это видеть живых людей, их идеи и их страсти (прячущиеся под идеями), и в то же время понимать направление ветров, наполняющих паруса одних кораблей и оставляющих в дрейфе другие. Понимание силы ветров не изменяет отношения к капитану и к команде корабля. Одних мы любим, других – нет. Но становится легче понять, почему корабль не пришел в гавань. И легче выполнить заповедь: не судите и не судимы будете.

1966-1982

Мих. Вайскопф

РОЖДЕНИЕ КУЛЬТА

(Ленин как мифологический тип)¹

В восковую персону он превратился задолго до смерти. Распилив покойнику череп, врачи обомлели — вождь был полный. Одно полушарие мозга съежилось до размеров грецкого ореха, и сосуды обызвелились; "при вскрытии, — пишет Семашко, — по ним стучали металлическим пинцетом, как по камню".

Ему было немногим больше двадцати, а сослуживцы по революции уже прозвали его Стариком. Эстетические пристрастия Ленина отдавали покойницей: любимая пьеса — "Живой труп", любимая с детства опера — "Аскольдова могила". В Париже молоденькая и жизнерадостная Мария Эссен любопытствовала у него о местных достопримечательностях — Владимир Ильич посоветовал ей обзреть кладбище Пер-Лашез, музей революции и музей восковых фигур. Так проступали контуры мавзолея.

Биографов озадачивает отшельническая и, я бы сказал, вполне мавзолейная замкнутость нашего героя — ни одного друга за все детские годы. А потом? "Скрытный, невнимательный и даже невежливый", — аттестует исключенного студента В. Ульянова ректор Казанского университета, человек с неужи-

Редакция осуждает бестактные замечания Мих. Вайскопфа по адресу христианской религии — впрочем, несколько извинительные в связи с его национальной принадлежностью (*Прим. автора*).

данно символической фамилией Кремлев. Единственный единомышленник, с которым Ленин прятельствовал в молодости, — Кржижановский, партийная кличка Суслик; со временем охладел и к Суслику. Семейные привязанности? Казнь любимого брата ничуть не помешала гимназисту Владимиру Ульянову превосходно сдать выпускные экзамены

Была, была в нем роковая анатомическая ущербность, асимметрия сморщенная половина мозга, чуть приметное косоглазие; по близорукости он постоянно шурил один глаз (мемуаристы уверяли, будто зоркость второго сверхестественно возрастает, так что вождь начинал смахивать на циклопа). За год до смерти у него парализовало правую сторону тела, и Ильич сделался, выходит, олицетворением левизны

Пустоты образа заполнялись мифами, ключьями тумана, чахлыми абрисами. Всю жизнь Ленина обступали призрачные самозванцы, жаждущие воплощения. Так русская поэзия, словно глумясь над ульяновской неприязнью к стихам, одарила Ильича и его покойного брата несусветными двойниками. В 1912 и, соответственно, в 1914 годах вышли из печати однотомники Пушкина и Лермонтова, составленные *В. Лениным* (псевдоним В.И. Сытина, сына издателя); предисловия сочинил некто *А. Ульянов*.

Или вот, в октябре 1917 возвращается вождь из Финляндии, в парике и с фальшивыми документами на имя рабочего Иванова — надо же, не проходит и года, всамделишный рабочий Иванов ловит с поличным террористку Каплан.

В силу злокозненного стечения обстоятельств обзаводились двойниками и близкие к нему люди. Сожительница Баумана, обладавшая роскошным, многоэтажным именем Капиголина Поликарповна, почему-то окрестила себя Надеждой Константиновной, произведя Ильича как бы в двоеженцы. В 1897 в газетах промелькнуло объявление о кончине Марии Александровны Ульяновой — Ленин решил, что это его мать, оказалось — другая.

И наоборот: ближайšie апостолы, страстотерпцы Первоапрельских тезисов, проваливались в небытие. Кто бы, допустим, мог вообразить, что через 20 лет после Октября товарища Зиновьева будут бить сапогами?

Собственно, почти сразу определились два Ленина. могильный истукан — и шустрый, развязный, говорливый щел-

кунчик, по-прежнему умиляющий советских либералов с приличным окладом. За целую зру до того, как Осинский объявил "Он — с одной стороны, Ульянов, а с другой стороны, он — Ленин", что-то неладное, естественно, первыми заподозрили дети Пятилетняя дочка Лепешинского, внимательно изучив обличье большевистского Януса, спросила:

— Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица?

— Как так два лица? — подскочил вопрошаемый

— А одно спереди, а другое сзади.."

Увы, с земным ликом вождя, с тем лицом, что *сзади*, дело обстояло крайне неблагоприятно. Взять хотя бы его знаменитую человечность или любовь к детям. К детям — и к котяткам, ласково уточняет Луначарский

"Владимир Ильич, — застенчиво признается хорошо знавший его Лепешинский, — если не ошибаюсь, не очень-то долюбывал маленьких детей, т.е. он всегда любил эту сумму загадочных потенциальных возможностей грядущего уклада человеческой жизни, но конкретные Митьки, Ваньки и Мишки не вызывали в нем положительной реакции.. Поскольку его всегда тянуло поиграть с красивым пушистым котенком (кошки — это его слабость), постольку у него нет ни малейшего аппетита на возню с двуногим "сопляком"."

Положительную реакцию Владимира Ильича, ценившего все полезное, вызывал, правда, детский труд. В Шушенском господам Ульяновым прислуживала тринадцатилетняя девочка Паша, "худущая, с острыми локтями". Барыня, Надежда Константиновна, обучала ее грамоте и начаткам классовой сознательности

На подчиненных Ленин взирал с деловитой заботливостью начальника, пекущегося об исправности вверенного ему инвентаря. "За неосторожное отношение к казенному имуществу (2 припадка) объявляется А. Д. Цюрупе I-ое *предостережение*"

Его личность была пропитана угрюмым утилитаризмом. И если уж он смеялся, то это был не праздный обывательский, а по наблюдению Луначарского, научно аргументированный "смех, вытекавший из глубокой уверенности в правильности своего анализа событий и неизбежности победы"

Не то чтобы он чурался прекрасного. Напротив. Он плакал над "Травиатой", обожал Курочкина, гражданскую скорбь

Некрасова и романс "У тебя есть прелестные глазки"; из гимназии вынес заповеданное начальством да маменькой почтение к немецкой музыке, Тургеневу и Толстому (обстоятельство, не помешавшее цензору-Крупской, во всем солидарной с мужем, в 1923 изъять из библиотек толстовские сочинения) Из новейших авторов Владимир Ильич признавал только Аверченку, в чем сходилась со своим предшественником — расстрелянным государем (сам-то юморист не жаловал обоих поклонников), а насчет других писателей обращался за разъяснениями к Анатолию Васильевичу в совнаркоме Луначарский служил музой, пока Сталин не уволил его за глупость.

Государственное обожествление такой фигуры, как Ленин, имеет славный генезис — оно восходит к традиционному русскому почитанию юродивых. И вместе с тем, создание ленинского культа отвечало сокровенным потребностям революционной России, охваченной тоской по новой церковности. Богостроительство луначарских и базаровых явилось симптомом застарелых глубинных процессов

Все начиналось исподволь, загодя, с переоценки духовных сокровищ. Немецкий "Капитал" вступил в борьбу с "Русским Богатством", а истории досталось раскавычить метафоры.

Интеллигенция любовно подбирала свеженькие иконы, которым суждено было смениться фотографией на белой стене. Жена П. Б. Струве с умилением писала жене В. И. Ульянова о своем сынишке: "Уже держит головку, каждый день подносим его к портретам Дарвина и Маркса, говорим поклонись дедушке Дарвину, поклонись Марксу, он забавно так кланяется". Мальша звали Глебом, впоследствии это известный американский профессор-славист.

Лондонские съезды РСДРП проходили в храме Божьем — пасторы сочувствовали социализму; позднее участник этих радений Максим Горький убеждал Василия Розанова, что "социалто демократия — внешнее выражение — хаотического пока еще — творчества всенародного, направленного к возведению новой церкви". Смежных взглядов придерживался в 1905 году и о. Гапон, хороший знакомый Ильича. Грядущее приоткрывалось в прозрачных метафизических символах. Первая легальная большевистская газета называлась "Новая жизнь". Заимствуя название у Данте, издатели могли бы задуматься над тем, что за *Новой жизнью* у того последовал *Ад*.

Новое божество обнаруживало себя в Ленине неуверенно, наощупь, тяготясь оскорбительной топорностью оболочки. Сопратники замечали, конечно, его колдовские чары — он, например, "незаметно передавал окружающим свой материалистический метод мышления", — но долго не могли подыскать нужной аналогии. Повадились, в частности, сравнивать его с Сократом, хотя что уж тут сходного, кроме страхолюдной жены? Нет, не выходит, печалится Анатолий Васильевич "У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорее выпуклые". Не беда, мысленно утешаю я Луначарского, выпуклые глаза были зато у Надежды Константиновны, мог бы наверно получиться синтетический образ. Признаться, меня подкупает параллель Ленин — Сократ, больно с нею расстаться, я теряю чувство меры и получается у меня черт знает что: платоновский Симпозиум в Горках.

Лежит себе Ильич на неприбранном ложе, зябко прикрывая ноги хламидой, ученики перешептываются отсыревшими от слез голосами, а у входа деликатно переминается с чашей цикуты один чудесный грузин.

Нет-нет, все не то, вечный раздор мечты с существенностью.

Подбирались и вздорные литературные предки. Горький уподобил было Ильича своему Данко, вырвавшему из груди сердце, чтобы озарить путь человечеству, но, поразмыслив, снял этот пассаж — по-видимому, вспомнил пушкинское. "Оставь герою сердце; что же он будет без него? Тиран!" Совсем недавно, подчиняясь провинциальной традиции, кто-то сопоставил нашего героя с Раскольниковым. Гораздо ближе к истине были меньшевики, прозвавшие Ленина Собакевичем.

Шушенский страдалец изображался порой в виде не то лешего, не то языческого божка — губителя лесного зверья и покровителя деревенских стад. "Раз бык какого-то богатея забоддал корову маломощной бабы", — эпически повествует ленинская вдова, напирая на аллитерацию и тонко расставляя классовые акценты. Маломощная баба "прибежала жаловаться Владимиру Ильичу". Обидно, Крупская не уточняет, чем кончилась история, но верится, что Ильич воскресил корову и покарал обидчика.

Что ни говори, жилось в Шуше спокойно. Ленин сносно проводил время, расстреливая зайцев и штудирюя Каутского. За трапезой он, как патриарх, вкушал агнца: "Обед и ужин, —

говорит Н.К., — были простоваты — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест, как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе, в *корыте, где корм скоту заготавливали*, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича” — Совершенно верно, мы подбираемся к теме яслей

Спустя много лет родился сюжет о титане, тонущем в снежных заносах. Все это чепуха, природа в Шушенском была покладистой, и тонул Ленин разве в дерьме — в самом что ни на есть прямом, материалистическом, а не каком-нибудь потустороннем смысле Село, сетовал он в письме к родным, “окружено навозом”, через который ему всякий раз приходится пробираться

Ленинское хождение по навозу представляется мне полновесным посредующим звеном в череде символических мотивов

Исааку Лалаянцу довелось в 1893, по прибытии в Самару, испытать два чарующих впечатления “подробный и живой” рассказ местного интеллигента, доктора Португалова, об устройстве парижской канализации и, на следующий день, знакомство с Владимиром Ильичом.

“Один раз, — повествует Андреев, его соученик по Сибирской гимназии, — Володя раскопал норку навозного жука. Отверстие в норку жука было очень широкое, и нора была глубиной около метра. Нора была разделена на камеры. В одной камере оказался большой склад навоза, а в другой, на самой глубине, лежали аккуратно скатанные навозные шарики..

Потом он (Владимир Ильич. — М.В.) рассказывал нам, что в Древнем Египте высекали их (жуков) изображения в храмах или как талисманы носили на теле. Нам это показалось очень смешным, и мы все перепачкались в глине, пытаясь вылепить талисман в виде навозного жука”.

Году в 1924 прохудилась кремлевская канализация, не выдержав большевицкого натиска. Мавзолей залили нечистоты, и какой-то священник (якобы сам патриарх) изрек. “По мощам и елей”.

Постепенно, шаг за шагом, наиболее пронизательными жрецами отыскивался главенствующий прототип, и едва он был найден, разъяснились и дурацкая мимика, и плешивость, и ужимки подвыпившего телеграфиста. “Ибо Он взошел... как

росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия”

“Прост, как правда”, — сказано о Ленине в евангелии от Максима, следовало бы написать “Правда” Пускай это была та самая простота, что хуже воровства, ей придавалось иное, исходно богословское толкование душа есть субстанция простая, неделимая

Личины распределены. “Глушь Симбирска” сходит за вифлеемские ясли, роль скотов молчаливо отводится безропотной мордве и чувашам Благо, город и без того поражал патриархально-скотоводческим укладом. Местный уроженец, поэт Коренев, живописал его “пастушеские нравы, стада баранов и коров”, и вдохновившись этой буколичкой, маленькая Аня Ульянова как-то преподнесла папе самодельное стихотворение “Пастух” Славился Симбирск и святоотеческим благочестием, двумя монастырями и двадцатью девятью церквями, лиц духовного звания насчитывали в 26 раз больше, чем фабричных

Богородицу, как положено, зовут Марией, она скромна и чадолюбива Отец — человек, опять-таки богобоязненный, работающий и бережливый — в часы досуга мастерит учебные пособия Хоть и не плотник, но случалось ему увлекаться деревянными поделками — велел вдруг распилить дубовое бревно и изготовить из него 12 стульев впрок, по числу апостолов

Есть в Ульянове-старшем и нечто от его библейского тезки, провозвестника мессии, — нечто от *Ильи-пророка*, повелевающего громами и всяческими небесными стихиями Илья Николаевич занимается метеорологическими пророчествами и изгоняет молнии посредством громоотводов

Место рождения вождя провиденциально “дикая окраина” города, тупик над обрывом в конце Стрелецкой улицы; дом упирается в тюрьму Сменив несколько жилищ, Ульяновы переезжают на Московскую В новом доме — почти церковная упорядоченность быта, несколько попахивающего, впрочем, Миргородом Мать за обедом сидит у западного, отец — у восточного конца стены По правую отцовскую руку — первенец, Саша Соседи вполне гоголевские с западной, где помойка, стороны дома — Мандрыкины; с восточной, сакральной, — другая семья, священник Медведков Радушием семья не выделяется, однако дельные люди в гости заходят — чаще прочих, народная учительница, госпожа Кашкадамова

Не забыли ли мы ангелов? волхвов? Кто был крестным

отцом, кто, сверкая лучистой улыбкой, склонялся над купелью Спасителя?

Над купелью товарища Ленина склонялся господин *Белокрысенко*

Второе, политическое, крещение состоялось, по истечении канонических 33 лет, в Брюсселе, на судьбоносном II съезде РСДРП. Делегаты заседали в мучном складе, где на ораторствовавшего Ильича тарачились осыпанные мукой *белые крысы*

А будущее, звездную славу предрекала младенцу колыбельная, которую певала мать:

А тебе на свете белом
Что-то рок пошлет в удел?
Прогремишь ли в мире целом
Блеском подвигов и дел?
Вождь любимый, знаменитый,
В час надежды роковой
Будешь крепкою защитой
Стороны своей родной..
Иль тебе по воле рока
Будет дан высокий ум,
И поведаеть ты много
Плодоносных, новых дум.
Неподкупен, бескорыстен
И с сознаньем правоты
Необорной силой истин
Над неправдой грянешь ты...

Ан. Иванский, составитель сборника "Молодой Ленин", справедливо сравнивает этот анонимный текст с некрасовской "Песней Еремушке". Рекомендуем еще один источник "Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит..."

В Симбирске у Ульяновых имелся домашний райский сад. Смутно цитируя книгу Бытия, сестра-Мария благоговейно вздыхает "В этих ягодных кустах, помню я, мелькала иногда фигура Владимира Ильича". Не обошлось, разумеется, без Евы. "Помню, — не одует Анна Ильинична, — как все мы были возмущены одной гостью-девочкой, которая пыталась показать нам свою удаль тем, что с разбегу откусила от яблока и про-

мчалась дальше” Откуда бедняжке знать, что хозяева из экономии едят только падалицы?

Крестник Белокрысенки — отрок законопослушный, исправно ходит к исповеди и не пропускает молебнов Учебник “Элементарной логики” вгоняет его в пот, но Закон Божий он знает на ять. Недаром глубоко верующий человек, строгий директор гимназии Федор Михайлович Керенский хвалит этого, увы, нелюдимого отличника за примерную набожность

Сведущ Володя и в мирских науках Не обладая ни малейшими способностями к поэзии, он, если учитель прикажет, готов немедля “переводить Гомера правильным гекзаметром”

В его комнате монастырская опрятность Крохоборским крысиным почерком — словам тесно, мыслям просторно — гимназист заполняет тетради, задумчиво косясь на стену, на пятнистые ягодицы географических полушарий — прообраз государственного герба СССР Названия сочинении “Лошадь и польза, приносимая ею человеку” (лошадей недолюбливает), “Зима и старость”, “Горы, их красота и польза” В выпускном классе предметы углубляются. “В чем выражается истинная любовь к отечеству” (возможно, вспомнит об этом в 1917). Классная работа “Заслуги духовенства в смутное время Русского государства” Молодец, Ульянов. Пять с крестом

Вещая тема смутного времени повторяется на выпускном экзамене. За два дня до смерти брата Володя пишет сочинение “Царь Борис Годунов”, о том, можно ли молиться за царя-Ирода Через три недели с блеском сдает Закон Божий В числе ответов — “Причащение священнослужителей”, и, словно нарочно, “Воскрешение Иисусом Христом Лазаря”

Возмужав, Спаситель одолевает в прениях меньшевистских фарисеев и книжников; придет час, их станут обзывать бородатыми талмудистами Помятуя о прототипе, он наставляет иереев будьте “мудры, как змии — и кротки (с комитетами бундом и Питером) — аки голуби”. Из оппонентов он изгоняет беса, заставляя их предварительно, согласно авторитетному свидетельству Луначарского, “обнаруживать плохо спрятанные оппортунистические рожки” В глазах приверженцев Ленин олицетворяет животворную стихию революции, сметающую мертвые догмы² Ибо он пришел не нарушить, а исполнить Закон, и впустую негодуют социал-демократические мелаеды. После Октября они столь же наивно возмущались

ленинскими субботниками, позабыв о сказанном "Не человек для субботы, а суббота для человека" Им и в голову не приходило, какая звезда воссияла над симбирскими столбами Тем паче, не ведали они, что в ульяновском Святом семействе издавался когда-то детский рукописный журнал под пророческим заглавием "Субботник" Там-то Володя, между прочим, избрал себе изумительный псевдоним, первую партийную кличку – Кубышкин.

Любовь к возвышенному, Нагоркины проповеди Как всякого пророка, его влекли к себе заоблачные высоты, *их красота и польза* "Этот вид, – пролялял он раз, оторвавшись от писанины и окинув поощрительным взором Татры, – не только не рассеивает внимания, но помогает сосредоточиться"

Отсчет ступеней начинается с Казани, куда Володя с родней перебрался после смерти отца Казанская сирота поселилась сначала на *Первой горе*, подалась оттуда на *Ново-Комиссаровскую* (да-да!) – в дом *Соловьевой* и, отбив ссылку в *Кокущкине*, вернулась на исходную Первую гору, в дом *Орловой*. Четверть века спустя орлиный полет завершается на Воробьевых горах.

А еще Владимир Ильич, блуждая в туманах, дважды взбирался на Бабью гору И напрасно – у подножья его караулила Надежда Константиновна

Настало, наконец, время потолковать о ней – о Надежде, обвенчавшейся с Избавителем

Поди догадайся, что эта революционная игуменья, изъяснявшаяся слогом Макара Девушкина и носившая партийную кличку Рыба, не лишена лирического воображения... что под серой горжеткой, в груди, унылой, как восточно-европейская низменность, бьется. что и узилище не разлучило любящие сердца

"Сношения с Владимиром Ильичем завязались быстро", – со сдержанной, тезисной нежностью отмечает Крупская, имея в виду не го, о чем думает сейчас читатель Сношения сводились к распространению по епархиям ленинских скрижалей, начертанных молоком, – этот ручеек предвещал социалистические молочные реки Живительную влагу узник добывал из самодельного хлебного сосуда (порой она оказывалась слишком жирной, а потому непригодной для конспирации, не знаю, поймут ли его заботы пышные зэки) упреждая, стало быть, газетно-колхоз-

ное изобилие, свершалось первое советское чудо — претворение хлеба в слово

Пути телеологизированного прогресса странно перекрещивались. На той странице медицинского трактата, между строк которой Ильич начал набрасывать проект программы РСДРП (повсеместное уничтожение капиталистической эксплуатации как залог грядущей победы пролетариата), говорилось об анатомических аномалиях и атавизмах и предсказывалось появление человека нового типа — с восьмью шейными позвонками.

Майскими вечерами, в Шушенском, молодоженов охватывало сладостное, но бесплодное томление. "После зимних морозов буйно пробуждалась весной природа, — доверительно сообщает Крупская — сильна становилась власть ее. Закат. На громадной весенней луже в поле плавают дикие лебеди. Или — стоишь на опушке леса, бурлит речонка, токуют тетерева. Владимир Ильич идет в лес, просит поддержать Женьку. Держишь ее, Женька дрожит от волнения, и чувствуешь, как тебя захватывает это бурное пробуждение природы". (Во избежание непристойных ассоциаций спешим уточнить: Женька — это собака Владимира Ильича).

Супругов сближало не вульгарное плотское вожделение — сублимируя свои скудные половые ресурсы, Ленин расходовал их в борьбе с отзовистами и ликвидаторами³. Общими были духовные и педагогические интересы. Единственная, донельзя лаконичная, фраза — "Вот-вот" — которую Ильич насилу выговаривал перед кончиной, — и та носила оттенок наставительности.

Короче, добропорядочное, освященное церковью, ульяновское сожительство следует признать вполне целомудренным: не брак, а брачный союз борьбы за освобождение рабочего класса. Эту на диво подобранную чету Бонч-Бруевич назвал "образцом настоящей социалистической семьи" — что, конечно же, верно, если принять во внимание бездетность.

Но разве эрос революции облекался только в узаконенные паспортной формой?

Юная российская демократия была проникнута стихией податливой женственности и тянулась к победителю. Начавшись 8 марта, с бабьих бунтов в очередях, Февральская революция закончилась капитуляцией женского батальона.

Небесный жених пожаловал в Россию на Пасху, и на вок-

зале его провели в Царскую комнату. До слуха толпы, возглашавшей осанну, доносился перезвон престольных колоколов.

Дальше разворачивается сплошное евангелие, с вариациями и подозрительной перестановкой мотивов. В июле, спасаясь от заключения в Крестах, Ильич, аки Иисус, шествует по водам, пробираясь в Разлив. В газетах недоумевают, как Ленин изловчился прошмыгнуть за границу. Не иначе как на аэроплане или на подводной лодке, предоставленной Вильгельмом.

В октябре появляется у него собственный Петр-отступник, к тому же о двух головах: *Каменев* и Зиновьев, главарь красного *Петрограда*. На этом-то камне он и воздвигнет свою церковь, покамест не подыщется более прочный фундамент.

Полюбуйтесь теперь сценой распятия, взятой нами из книжки евангелиста Бонч-Бруевича "Три покушения на В.И. Ленина". Исходя состраданием, обогащенным эротикой, управделами совнаркома лепечет: "Худенькое, обнаженное тело Владимира Ильича, беспомощно распластавшееся на кровати, — он лежал навзничь, чуть прикрытый, — склоненная немного набок голова, смертельно-бледное, скорбное лицо, капли крупного пота, выступившие на лбу, — все это было так ужасно, так безмерно больно...

А он, немощный и обнаженный, лежал тихо, спокойно, и из его уст не выходило ни одного звука, хотя всем было ясно, сколь тяжелы и ужасны его страдания".

Описывая чудо воскресения, Бонч-Бруевич многозначительно ссылается на слова эскулапа: "— Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после такого ранения, — сказал он мне полупшепотом... — Смертельная опасность миновала, как и почему — я не знаю. Здесь все крайне загадочно и непонятно... Ранение безусловно смертельное, таких случаев я не видел и не слышал".

Капкан на рисунках изображали только в профиль, как беса либо Иуду на иконах. Скоро, скоро ее потеснит Иудушка-Троцкий

После января 1920, украшенного ленинским юбилеем, и особенно после января 1924 житие вождя совсем уж бесцеремонно стилизуют под Святое писание. Горьковский "Человек с большой буквы" и "самый человечный человек" Маяковского — партийные псевдонимы Сына Человеческого. В поэму о Ленине Маяковский включает скрытые цитаты из Библии, соотноси-

мые христианским сознанием с личностью Иисуса. Обиходный тон задают красные псалмопевцы типа С.Минина — правда, бывшего семинариста: "С креста ты снимал пригвожденных рабов, лечил их кровавые раны"

Неутомимый Бонч-Бруевич изобретает ослепительную по величественному идиотизму "африканскую легенду" о Ленине "Там, где идет он, все одухотворяется новой жизнью зима сменяется весной, ледяные покровы (это в Африке-то!) тают, снег орошает землю, и под его ногами вырастают и расцветают прекрасные благоуханные цветы, и путь его обрамляется цветущими широколиственными лилиями...

И измученные народы востока и дальнего юга ждут пришествия нового избавителя"

Я вовсе не хочу сказать, будто Ленин был пародией на Христа — скорее, бесталанной карикатурой на антихриста Судьба предварила его рождение Пасхой, а смерть — Рождеством⁴; похороны же пришли на *воскресение* Новый Завет наизнанку

Умирал он чрезвычайно обстоятельно, подробно, с медицинскими злоключениями, искупая, быть может, свою тупоумную чиновничью жестокость. К слову, его владычество зачастую было пострашнее сталинского — при нем ставили к стенке за то же, за что при Сталине сажали — хотя находятся люди, именующие первые, еще неуклюжие пробы топора и юношескую безалаберность исполнителей — ленинским либерализмом

Какие думы копошились в его догнивавшем мозгу? Все катилось к черту, новый режим выглядел бездарнее царского, в казенном механизме застопорилась какая-то цюрупа Усилить контроль, наладить отчетность Почаще сажать, а главное, — расстреливать, расстреливать и расстреливать. Вот-вот

Сколоченная им партия разваливалась, горланили еретики Вспомнил ли он хоть раз тему последнего гимназического сочинения, писанного им в выпускном классе, — "Происхождение и причины распространения раскола?"

Переругавшись с соратниками, за вечерним чаем предсовнаркома по-стариковски отводил душу, калякая с кухаркой — она так и не научилась управлять государством.

На кого он мог положиться? Вроде, неплох был Сталин, да среди коммунистов он резонно считался грубияном, подобно тому, как Мендель Крик считался грубияном среди биндюжников

Ленинское "завещание" по жанру напоминает предсмертный монолог Иакова, с той разницей, что вместо благословений у Ильича одни проклятья. Чего, спрашивается, стоит партия, лучший теоретик которой — Бухарин — "никогда не учился"? Иные обвинения изложены совершенно невнятно — убеждает не содержание, а хмурый брюзжащий тон Сварливый пассажир запломбированного вагона знал цену своим попутчикам.

Его смерть означила конец революции. Он умер 21 января — ровно за 149 лет до того, 21 января 1775 года в Москве был казнен Емельян Пугачев.

Набив из Ленина чучело, преемники хозяйственно приспособили его для культовых надобностей. Живой, он давно стал им помехой, мертвый — сгодился.

Если вдуматься, создание мавзолея находилось в парадоксальной преемственной связи с набожным материализмом Ильича. По складу своего мышления, во многом predeterminedного отечественной традицией, он питал враждебность к неприкладным знаковым системам — шелухе слов, фразерству, обрядности. Настойчиво докапываясь до непосредственной, телесно-убедительной истины, он ухитрился *познавать* кантовскую вещь в себе, отождествляя ее с обычными, доступными чувственному восприятию — обонянию, осязанию — вещами. Он, собственно, прозревал натуру сквозь знаковые заслоны. Его Открытое письмо к ученому соседу — бездарнейший, потешающий философов и физиков "Материализм и эмпириокритицизм" — примечательно именно яростной антисемиотичностью в Махе Ильича бесила праздная знаковость, прикрывающая коварные идеалистические пустоты. Он и капитализм, если угодно, рассматривал как жульническую манипуляцию символами, с помощью которых единственно подлинные, *материальные* блага отчуждаются от их материального же производителя — рабочего класса. Из того же антисемиотического источника происходит его выигрышная полемическая манера "срывать все и всяческие маски", психологически и впрямь родственная толстовскому приему остранения, но обретшая куда более весомое, административно-полицейское, развитие.

На деле семиотика мстила за себя, возвращаясь с черного хода. В юности атеист-Ульянов соблюдал православные обряды, так сказать, из стихийно-материалистических побуждений демонстрируя почтение к религиозным символам, он под-

чинялся внешним условиям, уступал силе *вещей* – и эмблемы прикидывались реальностью. Здесь-то и таился подвох. Ибо отвергая в принципе символы, Ленин всегда почитал индексы, телесную номенклатуру действительности, ее однородные фрагменты, ясно указующие на целое. Он руководствовался логикой причащения.

Кульг вещей обманул его. Административное правдоискательство – маниакальное стремление все контролировать, самолично прощупывая меру усердия подданных, – оборачивалось такой же фикцией, как объективная реальность, данная в ощущениях, или как диктатура пролетариата (за все годы существования ленинского ЦК в его составе побывал чуть ли не один-единственный рабочий, к счастью, "парень хороший" – Малиновский). Жизнь отгораживалась от него бессмысленной громадой отчетов – набальзамированным трупом истины. И, уходя от жизни, Ленин застывал ее мертвым слепком – лампочкой Ильича, ленинским трактором, бюстом в губкоме.

Напрасно Троцкий, отличавшийся непостижимым умением ставить точки над *ы*, пустил в спиритуалистическое обращение модное словечко "ленинизм". С первых же дней восторжествовало здоровое материалистическое благочестие. В воззвании от 22 января 1924 ЦК РКП (б) творчески развивал тему причащения, затронутую некогда Ульяновым-гимназистом "Каждый член нашей партии – есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья – есть коллективное воплощение Ленина". Редактор "Рабочей мысли" уведомлял тов. Дзержинского: "Рабочие у нас говорят – ударишься в оппозицию, пойдешь к склепу Ленина и – сразу станешь на верный путь".

А кто не мечтал о воскрешении вождя? "Я хочу, – радовала сотрудников музея Ленина пролетарская девочка Манетова, – я хочу, чтобы наша вся семья погибла, а он был чтобы здоров и жив". (Заимствую обе последние цитаты из еженедельника "Читатель и писатель" от 21.1.28).

Да неужто он вправду умер? Он лежал в хрустальном гробу такой ладный, свежий, добротный, что казалось, вот-вот встанет. И он – встал.

В 1925 его замогильные блуждания заприметили Иваново-вознесенские мужички: "Ленин жив лежит на Москве-реке, под кремлевской стеной белокаменной. И когда на заводе винтик спортится али, скажем, у нас земля сушится, поднимает

он свою голову и идет на завод, винтик клепают, а к полям сухим гонит пыль Он по проволоке иногда кричит, меж людьми появляется. Тот, кому довелось слышать речи его, тот навеки пойдет путем правильным”

Но удивительное дело в этих сюжетах, восходящих, казалось бы, к народным легендам об Иисусе, Ленин выступает в роли демонического ночного персонажа. То Бог делает Владимира Ильича спутником волчьего солнышка. ”Когда на небе месяц моложавит, серпом висит, Ленин – вьюноша, парень кровь с молоком, а как только полнеть почнет месяц и делается круглым, как краюха хлеба, Ленин стареет, становится дедушкой.. ”

То он, выбираясь из могилы, ровно упырь, шляется по ночам. ”Положили Ленина в амбаришко, марзолей называется, и стражу у дверей приставили. Проходит день, два.. неделя, месяц – надоело Ленину лежать под стеклом.

Вот один раз ночью выходит он потихоньку задней дверью от марзолея, и прямо в Кремль, в главный дворец, где всякие заседания комиссарские ..

Вышел Ленин .. радостный, в марзолее лег успокоенный, спит вот уже много дней после своих странствований.

Теперь уже наверно скоро проснется.

Вот радость-то будет”

Легко, вероятно, разглядеть в заgrabной лениниане зародыши будущих анекдотов о Ленине, которые по собственной своей структуре, подчеркнем, ничуть не смешны – безотказный комизм им придает самая личность героя.

Надвигающаяся эпоха нуждалась в ином кумире, лишенном шутовской подоплеки и неуместной раздвоенности. То, что воспринималось как детская болезнь ленинизма в коммунизме, – прямота, усердие, бытовая непритязательность – было в Ленине шаржированным наследием старой служилой России За вычетом этих черт его культ оказался простой репетицией сталинского, отвечающего религиозному мироощущению 30-х годов с их преклонением перед зримой вещественностью стали, зарплаты и государственной мощи. Ни в жанровом, ни в этнографическом отношении сталинская агиография не привнесла ничего нового: до всяких там Джамбулов и Сулейманов Стальских фольклор о Ленине по манию начальства перемещался на восток; наряду с русской былинной ”Ильич-богатырь” и

”Покойнишным воем по Ленину”, расплозаются узбекская (Владимир Ильич в чертогах аллаха), киргизская, бурятская, чукотская (”Большой Иличич ушел в большую туманную гундру, но оттуда он говорит своим людям”), азербайджанская ленинианы.

Посмертные странствования завершили инкарнацией. Того, кто умер в Горках, заменил уроженец Гори. Сталин стал ”Лениным сегодня”. На месте багрового государства воздвигалось нынешнее – Позолоченная Орда

Судьбы Ульянова и Джугашвили соотносятся по принципу дополнительности, и мистиков заинтригуют, возможно, некоторые, на мой взгляд, курьезные совпадения. Роковое письмо к Троцкому (извещающее о победе над Сталиным в вопросе о монополии внешней торговли) Ленин продиктовал Крупской 21 декабря, в день рождения Сосо. На следующий день разъяренный Сталин по телефону наорал на Крупскую. Той же ночью у Ленина отнялись правая рука и нога. Под утро он начал составлять ”завещание”, которое еще предстояло дополнить следующими словами: ”Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть... Я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места”.

5 марта – дата будущей смерти И.В. – В.И. предъявил Сталину ультиматум, требуя извиниться перед Крупской и угрожая разрывом отношений; одновременно он продиктовал письмо к Троцкому, с просьбой выступить против Сталина ”по грузинскому делу”. Через три дня Ленина разбил паралич. Это случилось 9 марта 1923. В тот же именно день спустя 30 лет труп Сталина уложили в мавзолей, бок о бок с ленинским.

Ни в чем с такой символической силой не выразилось двуединство Ульянова и Джугашвили, как в тождественности обстоятельств, сопутствовавших их смертям. Оба отказываются от лекарств, прогоняют врачей; оба окружены врагами и умирают в полной изоляции (Ленина сторожит Сталин, Сталина – Берия). Диагнозы разные (у Ильича – сухотка), но и того и другого калечит правосторонний паралич; в обоих случаях непосредственная причина гибели – поражение мозга. Наконец, после обеих смертей ЦК публикует идентичные по смыслу заявления – гарантии коллективного руководства. Кончина Сталина оказалась плагиатом, и едва выяснилось, что в мавзоле

достаточно одного покойника, последнего ленинского двойника вытряхнули из святилища

Если сущность советского режима — смерть, прах и ложь, то я не знаю более точного символа коммунизма, чем напояженный мертвец в самой сердцевине рабье-мещанского царства. И когда я думаю об этом, мои воспоминания об СССР сжимаются в омерзительный образ: отрубленная голова над трибуной дворца съездов и штандарты всех вампирьих тонов — от венозного до сукровицы. Что там еще? Кубышка мавзолея, стена, поделенная на камеры с навозными шариками — урнами вождей, да поодаль собаки играют комсомольскую свадьбу.

Ленин не был пророком, и дар прозрения посетил его лишь однажды.

”В Лондоне, — рассказывает Горький, — выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в ”мюзик-холл” — демократический театрик”. Здесь, в демократическом соседстве вышибал и сутенеров, Владимир Ильич ”смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на все остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объемом около метра.

— Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой, — сказал Ильич... (Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел”.

Это было видение лесоповала.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Остерегаясь злоупотреблять вниманием читателя, я счел уместным отказать от подстрочных ссылок на цит литературу. Ограничусь беглым перечнем лишь самых основных фактологических источников, не упомянутых в тексте. Использовались, в первую очередь, советские издания: ”Воспоминания о В.И.Ленине”, т. I, 1956; Воспоминания Крупской (в ред. 1926 и 1932); сборники ”В.И. Ленин Статьи Каменева, Преображенского, Осинского, Горького, Луначарского и Подвойского”, 1924, ”Ленин”, сост. В.Крайний и М.Беспалов, 1924; ”Чтец”, 1925; ”Ленин в

поэзии рабочих”, 1925; “Первые песни вождю”, 1926, “Ленин в русской народной сказке и восточной легенде”, 1930

Среди работ, опубликованных на Западе, наиболее полезной оказалась для меня знаменитая книга Бертрама Вульфа “Three Who Made a Revolution A Biographical History” (London, 1956)

2 Полигические склоки, в приятном соответствии с законами марксизма, подогревались экономическими интересами, борьбой за рынки В Женеве большевики-Лепешинские владельцы столовой У конкурента, меньшевика-Аксельрода, имелось кефирное заведение

3 Предполагаю, что его затяжной роман с Инессой Арманд носил преимущественно эпистолярный и отвлеченный характер Ильич, по-видимому, страстно бранил Каутского Подобно Владимиру, все вообще младшее поколение Ульяновых пребывало в какой-то хронической распре с Купидоном Дети рождались только у Мити, — он не зря прослыл уродом в этой семье Александр, несмотря на вялотекущий флирт с кузиной, довольствовался научной стороной вопроса, прилежно исследуя половые органы пресноводных

4. Рождество было почему-то единственным православным праздником, который он отмечал Один из этих праздничных дней чуть не стал для него последним. В январе 1919 машину Ленина остановил известный московский бандит Кошелек, экспроприировавший у оробевшего вождя деньги, браунинг и документы Словом, встречу с Кубышкиным Кошелек провел в боевом ленинском духе, хотя не догадался умыкнуть жертву в качестве заложника, о чем горько жалел перед расстрелом

На

Красной площади стоит,

В нем кое-кто в гробу лежит

Вагрич Бахчанян
“Загадки для начинающих”

ПАЛИСАНДРИЯ: ДИССИДЕНТСКИЙ МИФ И ЕГО РАЗВЕНЧАНИЕ

Демифологизация официальной советской истории является одной из важнейших тенденций литературы постсталинского периода. Борис Шрагин назвал это ностальгией по подлинной истории. Как уже не раз случалось в России, освобождение от табу началось сверху, когда правительство стало проводить политику десталинизации и осторожного пересмотра недавнего прошлого, и, по установившейся традиции, с особой силой этот процесс проявился в литературной сфере. Уже само обилие и многообразие мемуарных и документальных произведений говорит о том, сколь тесно восстановление исторического и личного прошлого связано с литературой. Процесс осознания реальностей советской истории принял форму коллективного ритуала очищения и повлиял на всю русскую литературу без исключения — экспериментальную и традиционную, официальную и диссидентскую, документальную и художественную. Писатели-традиционалисты, во главе с Солженицыным, демифологизировали прошлое, стремясь реконструировать его во всех деталях, во всей полноте, основываясь на реальных данных. Писатели экспериментального направления во исполнение рецептов Абрама Терца создали "искусство фантасмагории", в котором гротеск заменил реалистическое описание.

Постсталинская либерализация затронула не только об-

щественную, но и частную сферу. Наиболее яркое тому свидетельство — литературная реабилитация сексуально-эротической тематики. При этом русская культура, в том числе и неофициальная, настолько политизирована, что непристойность неизбежно приобретает политическое звучание. Шокирующие политические откровения производят еще более сильный эффект, если излагаются шокирующим языком и соседствуют с откровенными описаниями сексуального толка. Говоря словами Эдуарда Брауна о Юзе Алешковском, эти писатели-демифологизаторы с помощью непристойной лексики произвели грандиозный взрыв, который разносит официальный русский язык в клочья.

В отличие от большинства неофициальных писателей, Саша Соколов до сих пор воздерживается от следования диссидентской идеологической модели и от разработки советской исторической темы. Принадлежа к модернистской традиции, его проза направлена на слово, а не на идеологию. Очередной демонстрацией блестящей словесной пиротехники является и его новый роман "Палисандрия"; но в то же время он восходит и к неофициальной литературе. Вполне в духе господствующей в сегодняшней прозе тенденции, это роман о советской истории, и он являет собой настоящую оргию снятия запретов, как политических, так и сексуальных. Однако в отличие от других авторов, Соколов в "Палисандрии" почти исключительно пародирует. Он мистифицирует читателя, подсовывая ему в качестве политически заостренного и глубокомысленного романа-свидетельства псевдо-мемуары, передразнивающие к тому же мотивы сексуальной революции и эмигрантской ностальгии. "Палисандрия" воспринимается также, как полемическая игра с романами типа "Острова Крыма", написанного в жанре своего рода эмигрантской фантастики, и с эмигрантским романом "Это я — Эдичка", который всей своей системой ценностей и ненормативной лексикой скандализировал культурный истеблишмент русского Зарубежья.

"Палисандрия" написана в форме мемуаров о советской олигархии сталинского и постсталинского периода, и, в свою очередь, рассчитана на скандальный эффект. Законченная в воображаемом году 2044-м и опубликованная в 2757-м, книга принадлежит перу Палисандра Дальберга, вымышленного кремлевского обитателя и графомана. В качестве псевдоме-

муаров роман представляет собой пародию на диссидентскую демифологизацию официальной версии советской истории и на литературные попытки восстановления исторической истины. (Одной из наиболее очевидных мишеней насмешливого отношения автора к моде на мемуары оказывается Светлана Аллилуева) В качестве псевдопорнографии "Палисандрия" высмеивает сексуальную эмансипацию и сопровождающую ее литературную "распушенность" последнего десятилетия. Из этих двух установок и складывается соколовское непочтительное прочтение истории, тривиализирующее ужасы советского прошлого. Ставшие каноническими образы безжалостного тоталитаризма и ГУЛАГа подменяются нарочито уютными, одомашненными фигурами вождей и пикантными деталями их сексуальной жизни.

Соколов полемизирует не только с идейным и тематическим содержанием неофициальной литературы, но и с ее языком. Автор "Палисандрии" последовательно избегает употребления по крайней мере двух типов лексики, характерных для прозы послесталинского периода: партийно-советских штампов и аббревиатур (а также их обыгрывания) и непристойных выражений. Хотя роман посвящен советской истории и общим местам ее диссидентского переосмысления, и к тому же автор не чурается рискованных эротических обстоятельств, тем не менее присущая современным антисоветским и "порнографическим" произведениям лексика блистает своим отсутствием. Отсутствуют торжественные перечисления советских учреждений и штампов; отсутствует и вольнолюбивая игра с бюрократическими клише, в стиле Зощенко или Ильфа и Петрова, нашедшая своих продолжателей в лице Аксенова, Исандера, Зиновьева, Алешковского и др. И главное — ни звука матом. Язык книги отборно досоветский. Стилизованная под средневековый рыцарский роман, "Палисандрия" напоминает прозу Серебряного века: стиль изыскан, загадочен, изощрен. Чистоту соколовской лексики можно, по-видимому, объяснить строгим эстетизмом автора, хотя нарочитая манерность соответствует также задачам пародирования приторно-невинного и велеречивого стиля многих текстов первой эмиграции. (Помимо прочего, "Палисандрия" — "эмигрантский роман", и ориентация на язык старой эмигрантской литературы — важный аспект его структуры). Но можно попытаться найти и дру-

гое объяснение – философское. Если принять, что язык определяет реальность, то отсутствие в книге советизмов и грубой брани и замена их куртуазными и возвышенными рассуждениями должны преобразовать реальный мир, показанный в романе. Тогда печально известное советское прошлое, как бы по мановению волшебной палочки, вдруг облагородится, и вместо пресловутых КПСС, ЧК, НКВД и КГБ страной станет править келейный орден Часовщиков *

Аллюзии и пародии, во множестве рассеянные по страницам "Палисандрии", не ограничиваются контекстом современной литературы. Соколов метит гораздо выше. Роман, по-видимому, задуман как образцовый текст русского постмодернизма, и в этом смысле его можно сравнить с "Петербургом" Андрея Белого, ставшим архетипическим произведением русского постсимволизма. Более того "Палисандрия" – это, в сущности, антология аллюзий на классическую и романтическую мифологию, а также на русскую и западную литературу. Здесь встречаются скрытые и явные ссылки на Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского, Гаршина, Блока, Белого, Ахматову, Мандельштама, Пастернака, Маяковского, Ильфа и Петрова, Булгакова, Платонова, Набокова, Терца, Солженицына, Аксенова, Окуджаву, Лимонова, на Гомера, Лопе де Вега, Флобера, Орвелла, Беккета, Беллоу и на многих других прозаиков и поэтов.

Пародия на морализаторскую серьезность и антисоветскую тенденциозность неофициальной литературы прежде и яснее всего выражена в повествовательном строе "Палисандрии". В сюжете романа можно выявить две по сути дела совершенно разные линии – мифологически грандиозное по замыслу путешествие героя (эта линия развивается по схеме: отправка героя – инициация – возвращение) и повесть о нечестивых похождениях в духе Дон-Жуана и отчасти Дракулы. Палисандр –

* Титул Брежнева – Месголюбитель, Андропова – Кардинальный Хранитель, Устинова – пороховых дел министр. А повествователь, полный тайных честолюбивых устремлений, называет себя держащим лицом, грамматически намекая тем самым на свой гермафродитизм, о котором читатель узнает лишь в конце книги. Обитатели Кремля названы крепостными – от слова крепость, жители старческого приюта Мулен де Сен-Лу – насельниками, как у Бунина, изгнание – посланием, потеря гражданства – отлучением и т. д.

квазимифологический герой, умирающий и на манер Диониса рождающийся вновь, чтобы воскресить свой народ. Вместе с тем, в качестве соврагителя престарелых женщин, он предстает перед нами одновременно псевдо-Эдипом и псевдо-Дон-Жуаном российско-европейского масштаба.

Как и подобает герою мифа, Палисандр наделен качествами, необходимыми спасителю нации, но в соответствии с ироническим тоном повествования путешествие героя носит полуфарсовый характер, и его героическая торжественность снижается рядом способов. В повествовательном плане мифологическое путешествие пародируется второй сюжетной линией — той самой, на которую нанизаны бесчисленные гротескные успехи Палисандра в области секса. Используя каноны плутовского романа, автор предлагает вниманию читателя эротические похождения вымышленного кремлевского отрока-сироты, тайно участвующего в интимной жизни реальных советских руководителей и их жен. В числе донжуанских походов, снижающих образ Палисандра как героя, разнузданные соития с женами и любовницами Ленина, Сталина, Брежнева, с Екатериной Великой и со множеством других женщин, великих и малых. Подобная социальная неразборчивость, как известно, была свойственна и Дон-Жуану, в отличие от которого, однако, Палисандр "соительствует" почти исключительно с пожилыми, вампирического типа женщинами, чьи траченные временем тела для него столь соблазнительны. Репутация Палисандра в ипостаси фаллического бога подмочена его некрофильской слонностью к старым и даже отмирающим прелестям. (В конце романа тема некрофилии в духе Дракулы получает неожиданное развитие и становится одной из главных). Рассмотрим более подробно основные моменты героического и снижающего аспектов сюжета и способы их сплетения.

Герой мифа всегда дитя Провидения, но его путь к самореализации чреват препятствиями; характер героя представляет собой комбинацию сильных и слабых черт. Несмотря на присущие ему от рождения необыкновенные таланты, он терпит всевозможные лишения, и сама жизнь его то и дело оказывается в опасности. Заметим, что рождение и раннее детство Диониса, а также и Эдипа, отмечены необычайными обстоятельствами и опасностями. Двойственность природы Палисандра проявляется уже с детских лет — его сиротская хрупкость ком-

пенсруется покровительством всемогущих отцов нации: Сталина, Берии, Брежнева и Андропова. Физически сильный и чрезмерно активный в смысле фривольных утех уже в младенчестве, Палисандр, тем не менее, остается вечным ребенком и большую часть времени проводит в ванне, влажный комфорт которой определенно сродни уюту материнского чрева. В этом смысле Палисандр подобен герою рассказа Абрама Терца "Пхенц". Инопланетянин Пхенц, чье тело имеет растительную природу, нуждается в больших количествах воды. Вот почему он по ночам сидит в коммунальной ванне. Келейное — "ванное" — существование двух героев метафорически определяет их общественную позицию, позицию отщепенцев. Андрогинные черты Палисандра, его гермафродитизм также свидетельствуют о его божественной натуре. Вспомним, например, Зевса, который, подобно женщине, произвел на свет Диониса из собственного бедра. В свою очередь Дионис тоже наделен чертами андрогина: в частности, в детстве его одевали как девочку. Традиционный мотив подтверждения "царственной" природы героя отражен в фантастической генеалогии Палисандра. Он потомок дионисийца Распутина и змеборца Берии, а в предыдущих инкарнациях состоял в близких отношениях с выдающимися правителями вроде Ивана Грозного и Екатерины Великой. Весьма возможно, что он принадлежит к роду Романовых, но уже совсем абсурдно звучит его мегаломанское утверждение, что он в родстве с такими историческими фигурами, как Мария Стюарт и Уинстон Черчилль.

Путешествие героя как таковое начинается в тот день, когда Андропов, один из отцов-покровителей Палисандра, вербует его в орден Часовщиков и дает ему ответственное задание — убить правителя страны — Леонида Брежнева. Разумеется, богом-покровителем ордена оказывается Кронос, чье пожирание собственных детей можно считать мифологическим прообразом тех отношений между отцами и детьми, которые складываются в романе. В сознании политически ориентированного читателя современной русской литературы образ Кроноса, конечно, вызовет ассоциации со сталинским террором, хотя прямые упоминания о нем в книге подчеркнуто отсутствуют. Это один из характерных примеров иронического отношения Соколова к эзопову языку, столь популярному среди писателей-диссидентов. Впрочем, усмешка эта адресована и диссидентам-читателям.

После долгих псевдотерзаний и сомнений в духе Раскольникова и Ивана Карамазова кремлевский сирота принимает вызов судьбы и соглашается выполнить задание Андропова. Но его согласие мотивировано не высокими политическими соображениями, полагающимися эпическому герою, а сексуальной ревностью эдипова толка. Палисандр не может простить Брежневу, что тот соблазнил его отроческую пассивность — старую и заслуженную правительственную куртизанку Шагане (она же мадам Хомейни, она же кремлевская знахарка Джуна, она же мифическая прапраматерь Акка, римская волчица). Композиционно связывая героический вояж Палисандра с его дон-жуанскими похождениями, миф об Эдипе становится основой соколовской пародии на диссидентскую трактовку прошлого, а так же "закваской" палисандровых сексуальных переживаний. Эдиповское прочтение советской истории опошляет ее ужасы и снижает ее сатанинские масштабы. Непочтительное отношение к ней автора отражено в одном из двух названий книги — "Палисандрия" вызывает в памяти "Одиссею", но внутри текста дан дополнительный заголовок романа — "Инцист кремлевского графомана". Здесь — прямое указание на инцестуальный субстрат, вчитываемый автором в советскую историю. Однако с чисто литературной точки зрения это опощение истории приводит к ее ремифологизации — на основе архетипического мифа греческой трагедии. Такая реинтерпретация истории подкрепляет эстетическую позицию автора: литературу не следует смешивать с историей и политикой.

Взаимоотношения Палисандра с большинством материнских и отцовских фигур в романе строятся по законам эдипова треугольника. О настоящих родителях героя известно только, что они, как и Берия, покончили с собой (Палисандр называет свою семью "семьей потомственных руконаложников") и что отец его, подобно Берии, являлся членом ордена Часовщиков. Вскоре после смерти родителей малолетнего Палисандра возвращает его престарелая няня Агриппина, чей образ напоминает Арину Родионовну (В предыдущей жизни, которую Палисандр порой описывает, эту неблагоприятную роль сыграла сестра его матери Мажорет, взявшая на себя заботу о малыше в аналогичной ситуации. Позднее, явившись в образе вампирической *femme fatale*, Мажорет участвует и в одном из бурных эротических приключений Палисандра в его нынешней инкарна-

щи). Соблазнение им девичествующих многоюродных теток, словно бы сошедших со страниц тургеневских романов, – дань той же теме. И хотя мифический сын Кремля описывает советских вождей как добрых и заботливых отцов (таков, прежде всего, Сталин), он состоит в порочной связи с их женами и наложницами. Некоторые из его свиданий лишь упоминаются, другие представлены крупным планом. В главе, где “без прикрас и умолчаний” изображена “подлинная история” смерти “дяди Иосифа”, ясно дается понять, что маленький Палисандр был любовником Надежды Аллилуевой и что Сталин убил ее из ревности. Подобно многим другим женщинам Палисандра, Аллилуева заменяет ему мать. Психоаналитическая трактовка сталинской гибели в романе также выявляет квазиэдипов подтекст, причем подсознательное стремление “кремлевской детворы” к убийству естественно объяснить фрейдистским мифом о первобытном родовом стаде (“Тотем и табу”). И хотя на словах Палисандр не питает никаких дурных чувств к Брежневу, а тем более к Сталину, он несомненно вовлечен в эдипов любовный треугольник, как с тем, так и с другим.

В главе, посвященной гибели Сталина, кремлевские подростки решают устроить любимому старику сюрприз. Добродушие Сталина, особенно его теплое отношение к детям, напоминает трафаретное изображение Ленина в произведениях социалистического реализма. Образ “хорошего диктатора” – стержень соколовской игры с диссидентской трактовкой истории. Дети запирают собаку по кличке Руслан в платяной шкаф Сталина, а сами прячутся в комнате и ждут возвращения генералиссимуса. Очевидны как ссылка на “Верного Руслана” Владимира, так и аналогия между соколовским Русланом и Сталиным. оба символизируют нестрашное, одомашненное зло, бывшая сторожевая собака стала ручной, а Сталин представлен как всеобщий добрый дядюшка. (В другом месте Сталин характеризуется как “Дон Кихот без страха и упрека”). После того, как Руслана заперли, свет в помещении гаснет и, когда Сталин, вернувшись с прогулки, отпирает шкаф, пес в порыве радости “прыгает освободителю на грудь”. Испуг полководца оказывается в буквальном смысле смертельным. Дети, естественно, испытывают чувство вины. Родительский Совет Кремля приговаривает их к разного рода наказаниям. Но Соколов опять обманывает ожидания “эзоповского” читателя и таким

образом пародирует литературу о сталинском терроре: наказания назначаются смехотворно мягкие. Одни участники этого нечаянного преступления отправляются в лагеря — пионерские, другие за границу на лечение. Палисандра ссылают в Дом массажа правительства, расположенный в здании Ново-Девичьего монастыря. Этой, по выражению героя, "каторгой эротических чувств" начинается палисандрово хождение по мукам, следующие этапы которого — пребывание в привилегированной кремлевской тюрьме и изгнание из России (и то, и другое — результат его покушения на Брежнева)

"Книга Дерзания" (новодевичья часть романа) выдержана в духе дионисийского карнавала с его характерным смешением политики, секса и религии, что опять-таки работает на снижение политической и героической тем. Деятельность Палисандра в качестве новодевичьего ключника имеет явный эротический подтекст. Из "Книги Дерзания" мы узнаем, что он доблестный любовник и предпочитает иметь дело с пожилыми женщинами. В Доме массажа работают разного рода проститутки, названия должностей которых эвфемистически соответствуют монастырской традиции: одни послушницы, другие прихожанки, а Шагане настоятельница. В этой части романа соколовская проза обнаруживает особенно сильное влияние литературной эротики Серебряного века. Здесь широко используется поэтический словарь начала столетия, и некрофильские наклонности Палисандра а ля Брюсов и Сологуб проявляются в полной мере

Дионисийская карнавальность, характерная для Серебряного века, призыв к которой содержался уже в статье Терца о социалистическом реализме, пережила новое возрождение в постсталинскую эпоху. Классическим образцом русского модернизма с дионисийским подтекстом можно считать "Петербург", где очень искусно переплетены мифы о Дионисе и Эдипе. Николай Апполонович, как и Палисандр, — это дионисийский и одновременно хриstopодобный герой, страдающий эдиповым комплексом. И в том, и в другом романе матери и "материнские фигуры" неразборчивы в связях и являются объектом вожделения сыновей, а образы отцов ассоциируются с политической властью. Сыновья противостоят этой власти, однако скорее во фрейдистском смысле, нежели в идеологическом. Наличествуют в "Палисандрии" и чисто языковые аллюзии на

”Петербург” Артак Арменакович Амбарцумян, например, перекликается с Аполлоном Аполлоновичем Аблеуховым, а страницы поэтически организованной прозы, полные аллитераций, напоминают прозу Белого в целом. Связь между книгами Соколова и Белого (особенно если учесть эдипов подтекст) представляется явной, но, будучи произведением постмодернизма, по сравнению с ”Петербургом” ”Палисандрия” текст гораздо более холодный, начисто лишенный психологического драматизма. Если у Белого взаимоотношения между отцом и сыном одновременно трагичны и комичны, то в ”Палисандрии” соответствующие мотивы даны в условном ключе. Хотя убийство Сталина кремлевскими детьми описывается как бессознательный акт, Соколов отнюдь не извлекает из него психологических эффектов, созвучных психоаналитической трактовке отцеубийства. Эпизод воспринимается как чистая игра: обесцениваются и смерть Сталина и эдипов комплекс. Покушение же на Брежнева вообще носит чисто ритуальный характер.

Два изгнания Палисандра — после смерти Сталина и после неудавшегося покушения на Брежнева — символизируют смерть мифологического героя. Выдворение из Кремля и определение на службу в Дом массажа, а затем — тюремное заключение и последующая высылка в Европу — все это опять наводит на мысль о мифе — инициации героя и его спуске в преисподнюю. Некрофильская любовная связь Палисандра с древней настоятельницей монастыря Шагане означает его нисхождение в царство мертвых, описана она в изысканной манере *art nouveau*. Шагане сравнивается с дамой пик, ее лоно уподобляется темному гроту, груди подобны сосцам римской волчицы, вскормившей Ромула и Рема. Она — тоже героиня мифа: давно умершая мать, страстно желаемая сыном, который изгнан в чрево преисподней. Этот сюжет напоминает о последнем приключении Зевесова сына перед триумфальным возвращением на Олимп в поисках своей матери Семелы. Дионис спускается в царство теней. Характерно, что все эротические эскапады Палисандра после гибели Сталина носят несколько потусторонний характер, их словно бы осеняет смерть. Самые яркие, а вернее, наиболее мрачные примеры — его упадочнические соития со старухами на московских кладбищах. Тем не менее сомневаться в пародийной природе соколовского декаданса не приходится. Это явная издевка над эротическими писаниями, позволяющая

датировать этот роман как постлимоновский. Секс-пародия Соколова основана на том, что он демонстративно выходит за рамки дозволенного в современной русской литературе. Но при этом он не употребляет бранной лексики, или, как со свойственной ему куртуазностью называет их Палисандр, "крылатых слов". Женские гениталии, например, синонимизируются так: межножье, лоно, ее обстоятельства, подводный грот, лепестки лилеи, лабиринт и т.д.

Совмещение любви и смерти, в частности в мотиве кладбищенского свидания, свойственны эстетике и сентиментализма, и романтизма. Сентименталистская кладбищенская поэзия, романтические встречи у дорогих могил, безутешная любовь к умершим — давно знакомые мотивы. Пушкинский Дон Гуан влюбляется в Донну Анну у могилы ее мужа. Исполненное эротики свидание на кладбище описано в тургеневской "Кларе Милич" безумно увлеченный Кларой, Аратов вступает в связь с ее призраком. У Брюсова можно найти немало стихов о любви к умершей или напоминающей мертвую женщине. Один из первых образчиков откровенного кладбищенского секса в русской литературе встречаем в платоновском "Чевенгуре": Сербинов предается любви с Софьей Александровной непосредственно на свежей материнской могиле. Это ритуальное отождествление матери Сербинова с предметом его вожделения во многом близко по духу кладбищенским совокуплениям Палисандра со всевозможными матерями и бабушками. Только в "Палисандрии" романтическое сопряжение любви, смерти и инцеста имеет иной психологический оттенок, ибо соития предлагаются читателю в пропорциях поистине раблезианских; они гротескны по форме и пародийны по содержанию.

Один из наиболее важных эпизодов палисандрова путешествия в царство смерти — прибытие командированного Андроповым героя в замок Мулен де Сен Лу, расположенный в независимом княжестве Бельведер. Это резиденция этрусской княгини Анастасии Чавчавадзе-Оглы (урожденной Романовой), которая намеревается "увнучить" Палисандра. Слово "этрусский" можно понимать как намек на русскую послереволюционную эмиграцию и старомодность ее языка (ср. вымышленный язык яки в "Острове Крыме"). В главах о злключениях героя в Мулен де Сен Лу автор иронизирует над аристократическими претензиями и устаревшими ценностями старой эми-

грации, представляющими своего рода аналог затянувшейся инфантильности самого Палисандра. Будучи сиротой, одержимым эдиповым комплексом, Палисандр и в Мулен де Сен Лу ищет давно потерянную мать и любовницу; но кроме того, претендуя на роль будущего героя и спасителя России, он пытается выполнить возложенное на него задание и тем самым пройти обряд инициации. Именно сосуществование этих психологических комплексов (инфантильности и героизма) способствует созданию пародийной атмосферы и эффекта временной деформации. В героическом плане романа Андропов отправляет Палисандра за границу со шпионской миссией, выполнение которой должно начаться в замке Анастасии. Однако его прибытие в Бельведер на дирижабле из презервативов представляет собой типичную фантазию сексуально озабоченного подростка и работает на снижающую, пародийную линию сюжета.

Мастерски описанное преображение Палисандра в замке Мулен де Сен Лу, где размещается теперь эмигрантская богадельня, — может быть наиболее мифологизированная сцена романа. Узнав, что Анастасии давно нет в живых, а место ее приемного внука занято другим, юный фаллический бог неожиданно превращается в жалкого старика, ползающего по полу замка в поисках "жемчуга растраченных лет". Символическая смерть и преобразование Палисандра — своего рода бога плодородия Диониса — происходит перед зеркалом (намек на Дориана Грея). В этом эпизоде Палисандр одновременно и Дионис, и Иисус Христос, которые умирают, чтобы воскреснуть и возродить человечество. Кисти рук Палисандра уподоблены кистям винограда (Палисандр по-декадентски прикрывает их перчатками), а на голове у него — горящий терновый венец. Кроме того, он сравнивается с библейской неопалимой купиной и с возрождающимся Фениксом. Подобно языческим богам природного цикла Палисандр причастен к растительному миру: имя его происходит от латинского названия розового дерева. Последнее, хотя и несет в романе по преимуществу эротическую смысловую нагрузку, не может не напомнить о мифическом древе жизни и смерти. Впрочем, на первый взгляд палисандровое дерево видится лишь как источник разнообразных растительных эвфемизмов, которые отчасти определяют романтический и псевдо-куртуазный стиль повествования. Соблазняя своих многоюродных теток, Палисандр утешал их "слова-

ми листьев”, лобзал их “губами бутонов” и утолял их печаль “нектаром пестиков”.

В философском или, лучше сказать, в мнимофилософском смысле, “Палисандрия” — роман о времени и вневременности, как это ясно видно на примере вышеописанной сцены в Мулен де Сен Лу Герой видит себя одновременно шестнадцатилетним юношей и стариком, точно так же, как Мажорет является одновременно его дочерью и теткой. А совращение престарелых обитателей Мулен де Сен Лу отражает актуальную ныне в общественной жизни проблему растления малолетних. Важно отметить, что хотя и рассказывается о детстве, отрочестве и юности героя и параллельно — о его старости и смерти, какие бы то ни было упоминания о периоде его зрелости отсутствуют. Возможно, что этот факт свидетельствует о легкомыслии автора и отказе от серьезного осмысления и реалистической трактовки советской истории, но, так или иначе, он лишний раз подчеркивает дионисийский характер Палисандра. По традиции Дионис изображается молодым или умирающим богом, а не взрослым. Неприятие линейного течения времени обнаруживается уже в прологе: Берия вешается на стрелках часов Спасской башни и часы останавливаются. Так и в истории России, и в модернистской структуре романа начинается эпоха Безвременья. А позже, по прибытии героя в замок Мулен де Сен Лу, выясняется, что она была также эпохой Беззеркалья, ввиду чего Палисандр имел о себе ложное представление как о вечном юноше. Впрочем, Палисандр живет в разных эпохах русской истории (при Иване Грозном, при Екатерине Великой, при Ленине, а также после Сталина), что создает эффект *déjà vu* или *уже было* (неологизм Соколова), который усиливает эффект двойной временной экспозиции.

Мифологический вояж достигает своей низшей точки, когда Карл Юнг и Мажорет Модерати, тетка и одна из совратительниц Палисандра, обнаруживают, что он — гермафродит, факт, державшийся в строжайшей тайне. К этому же моменту относится полное перерождение героя. В соответствии с поэтикой романа образ гермафродита и серьезен, и пародиен. Как и “Этот я — Эдичка”, “Палисандрия” — роман эмигрантский, и в этом смысле явление гермафродитизма героя знаменует собой сильное преобразующее влияние эмиграции. В нем можно также усмотреть иронию автора по поводу раскрепощающего дей-

ствия, оказанного сексуальной революцией на русскую литературу. Пародируя похождения Эдички, Соколов проводит Палисандра по кругам чувственного ада. Палисандр-гермафродит приобщается к садо-мазохизму, трансвеститизму, проституции, гомосексуализму, он даже беременеет и ему приходится делать аборт. Хотя ни Эдичка, ни его автор в романе не упомянуты, но Палисандр живет в Париже по бывшему адресу Лимонова — на 54, Rue des Archives. В числе сатирических отображений западных перегибов в области борьбы за права человека — организация Палисандром движения за права гермафродитов, за что он впоследствии и удостоивается Нобелевской премии Мира. С мифологической же точки зрения, гермафродит — образ вечной юности, который обычно знаменует начало космогонического цикла, как и завершение подвигов героя Перерождаясь, герой преодолевает свою первоначальную природу. Как Шива в ипостаси Лингэма, Палисандр предстает перед нами "двуполым", наделенным и фаллосом, и вульвой. Он — андрогин, в своем двуединстве содержащий в себе всю жизнь и одновременно первоисточник жизни.

Сверхъестественные приключения мифологического героя должны заканчиваться тем, что он возвращается из царства мертвых и возрождает свой народ при помощи эликсира жизни. После раблезианской оргии сексуально-эксcrementального характера и других событий, по ходу которых высмеиваются корыстолюбивые, а также либеральные повадки западного общества, его литература и прочее, кремлевский сирота получает приглашение русского временного правительства вернуться на родину. За время его изгнания умерли Брежнев и Андропов. На смерть первого Палисандр реагирует, как типичный обладатель эдипова комплекса. Он полагает, что Виктория открылась супругу в своей измене с ним, Палисандром, и что эта весть окончательно расшатала здоровье вождя. Возвращение Палисандра в Москву на поезде напоминает историческое возвращение Ленина в Петроград. Последним делом кремлевской сироты на Западе была скупка захоронений всех знаменитых русских эмигрантов с целью перенесения их на родную землю. (Вспомним недавнее перенесение в СССР праха Шалапина). Эти останки и играют роль того эликсира жизни, или той ритуальной добычи, с которой герой возвращается из царства мертвых. Не исключена возможность, что этот образ Соколов позаим-

ствовал из мемуаров Нины Берберовой. В книге "Курсив мой" она описывает свой многолетней давности сон. она стоит на платформе в Петербурге, ожидая прибытия поезда с останками Ходасевича, Бунина, Рахманинова и других известных изгнанников. Однако соколовский поезд с прахом Герцена, Огарева и многих других носит пародийный характер: с одной стороны, это псевдонационалистический символ, но в то же время и гротескная метафора эмигрантской ностальгии. Эпический мотив возвращающихся на родину поверженных воинов с его животворными коннотациями снижается, в частности, благодаря очевидной перекличке с покупкой Чичиковым "мертвых душ". Тем не менее, при всей своей гротескности, образ поезда не заслоняет от нас главной идеи Соколова: Россия будет спасена именно так — через мистическое, в духе Федорова, воссоединение с призраками диаспоры. Образ поезда также перекликается с гоголевской птицей-тройкой, которая возникает в обращенном к России внутреннем монолог Палисандра, венчающем эпизод его возвращения на родину. Этот монолог одно из немногих мест в романе, где пародийность почти полностью уступает место серьезности.

Мотивы белоэмигрантской ностальгии по России и воссоединение русской диаспоры с могучей метрополией образуют центральный стержень "Острова Крыма" — одного из напрашивающихся подтекстов соколовского романа. Подобно Палисандру, Андрей Лучников квази-герой, миссия которого — спасти Россию — должна быть осуществлена путем добровольного присоединения процветающего Крыма к многострадальной Родине. Оба автора высмеивают слащавый и наивный патриотизм старой эмиграции и либеральную благонамеренность Запада. Однако в отличие от "Палисандрии", "Остров Крым", несмотря на типичную аксеновскую арлекинаду, с полной серьезностью преподносит типичный диссидентский урок: предупреждение свободному миру о советской опасности.

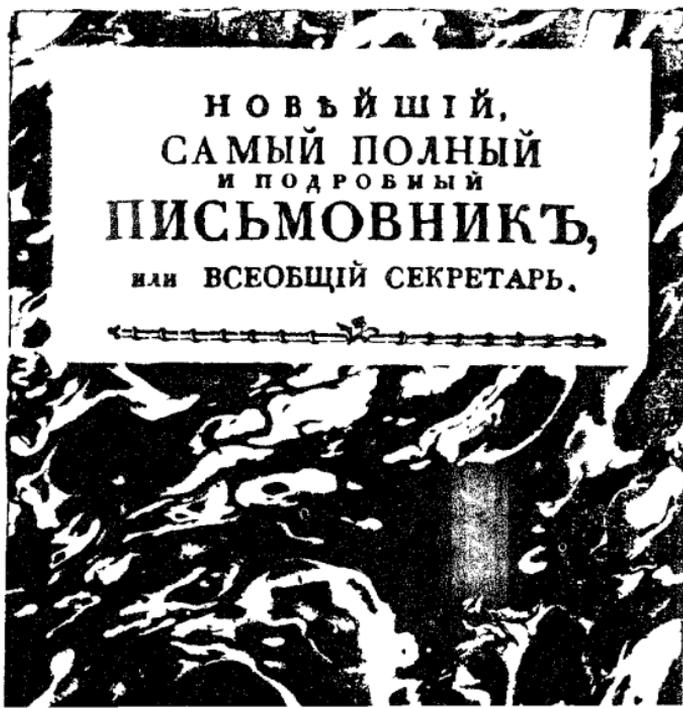
Разумеется, свободный мир "Палисандрии" гораздо менее политизирован, чем остров Крым. На Западе, который он исколесил вдоль и поперек, Палисандр увлекается коллекционированием могил — страсть, которую можно считать продолжением его некрофилии. Хотя мотив коллекционирования могил также представляет собой образчик соколовской сатиры на поветрия западной моды (вспомним повальное увлечение гроб-

ницей Тутанхамона), он отражает болезненные и извращенные вкусы героя, роднящие его с персонажами типа Дракулы. Склонность Палисандра к вампиризму – еще один литературный ингредиент его образа. Классические вампиры обычно самоубийцы и физические или духовные уроды. Это мертвецы, которые отказываются покинуть мир живых и поддерживают в себе видимость полнокровного существования кровью жертв. Выходец из семьи самоубийц (таковы его родители и Берия), Палисандр является физическим уродом: он гермафродит и, подобно своему деду Распутину, он семипал. К тому же у него репутация оборотня, и, как и Дракула, он живет и путешествует в гробу – гробоподобной ванне, вода которой восстанавливает его силы (ср. выше о ванне как образе материнского чрева). Вода выполняет здесь ту же функцию, что и кровь в мифе о Дракуле. это влага жизни. В отличие от традиционного распределения ролей между вампиром и жертвой, Палисандр не убивает вампирообразных женщин, а, напротив, возвращает своих "жертв" к жизни; а это, в свою очередь, нечто вроде обращения ситуации "Лолиты": автор сравнивает Палисандра с Гумбертом Гумбертом, страсть которого, однако, направлена не на нимфеток, а на старух. Подобно набоковскому роману, "Палисандрия" представляет собой пародию на модные в современной литературе темы инцеста, романтической любви, мифологического поиска и на плутовской роман. Впрочем, у Палисандра больше общего с Лолитой, нежели с Гумбертом: он – сирота и, благодаря "совратительницам" псевдоматеринского толка, у него "в детстве не было детства".

С публикацией "Палисандрии" Соколов как бы оставляет свою роль литературного аутсайдера и присоединяется к магистральному направлению современной русской литературы. Как литературный хэппенинг, "Палисандрия" нацелена на сенсацию, подобную той, что произвели многие диссидентские мемуары, обличительные книги о советской истории, а также так называемая порнографическая литература. Однако в романе отсутствует реальная жизнь, и мемуарность его сплошь фиктивна. От писателей-демифологизаторов ждешь правды о терроре, предательстве, страданиях, а Соколов вместо этого предлагает нам уютную кремлевскую идиллию и фарс-маскарад с половыми извращениями. Ужасы советской истории представлены в сниженном, одомашненном или карнавальном виде, что скорее

всего вызовет возмущение у политически ангажированных и праведно настроенных русских и западных читателей. Ибо подобное сочинение может показаться кощунственной насмешкой над русской трагедией двадцатого века. Сделав своего героя самодовольным графоманом, который рассказывает правдивую повесть о любви и смерти за стенами пресловутой крепости, Соколов пародирует также массовое увлечение запретными темами и приток в литературу людей, желающих раскрыть и изложить всю правду, "как есть". Квинтэссенцией его пародии является образ русского писателя-мегаломана (в духе Козьмы Пруtkова или Хлестакова), который считает себя "государством в государстве". Палисандр совмещает величие художника (он нобелевский лауреат) с политической властью (он становится правителем России), т.е., согласно пушкинской формуле, является одновременно "поэтом" и "царем" Это, конечно, вариация на тему исторически влиятельной роли русского писателя и его сложных отношений с государством. Но в отличие от своих современников, Соколов создал чисто литературный текст, в фокусе которого скорее языковые и эстетические, нежели идеологические и жизненные проблемы.

«СИНТАКСИС» - репринт
ПИСЬМОВНИК 1822 года.
Цена 270 фр. фр.



Жорж Нива

ПЬЕР ПАСКАЛЬ
ИЛИ
"РУССКАЯ РЕЛИГИЯ"

Пьер Паскаль умер 1 июля 1983 года, накануне своего 93-летия, в своей квартирке в Нейи, битком набитой книгами и бесценными брошюрами, которые он привез из России. Квартира ученого, всегда открытая ученикам, многие сотни которых любили своего улыбчивого учителя по "Школе восточных языков" или по Сорбонне, а десятки регулярно звонили в эту дверь, приходили побеседовать под шаткими лесами книжных полок, на старом диване, украшенном русской вышивкой, — ее алые тона были все еще свежи. Да, нас были сотни, которым перепала частица этого преподавания — точного, методичного, ясного, высвечивавшего филологию историей, литературу — проблемами общества, — преподавания, целиком проникнутого требовательной любовью к русскому языку. Скольких людей Паскаль буквально обратил, заразив своим восхищением перед глагольной изобретательностью и лексическим богатством русского языка! Улыбчивый учитель, разбирающий фразу из "Слова о полку Игореве", и вспоминается мне прежде всего. На своих знаменитых пятничных занятиях (в 5 часов вечера) он оспаривает, с чуть заметной иронией, тезис Андре Мазона, который видел в "Слове" подделку XVIII века, на манер Оссиана. Паскаль показывает нам, каким источником образов послужил русский национальный эпос для поэтов России от Пушкина до

символистов. В аудитории на рю д'Ульм нас было двое в семинаре, на котором учитель извлекал из одной басни Крылова целый социальный пейзаж откупных дел, целую сокровищницу фразеологических оборотов и этимологических ходов.

Пьер Паскаль поступил в Эколь Нормаль в 1910 году. Ученик Паскаля, я потратил немало времени, чтобы узнать биографию учителя, который охотно слушал, но о себе рассказывал скупно. А ведь уже в 1956 он пригласил меня в Нейи, в свою трехкомнатную квартиру на улице Женераль Кордонье, и я очутился в тесном кругу учеников и друзей, которые по традиции собирались у него 29 июня, на праздник святых апостолов Петра и Павла. Здесь я понял, что у этого профессора с приветливой, но загадочной улыбкой есть "другая жизнь" — не то чтобы двойное дно, но какая-то грань существования, которую он не открывает своим ученикам. (Да и немудрено. он никогда не позволял себе отступлений ни в своих курсах, ни в ученых трудах). В Нейи госпожа Паскаль, "Женни", встречала всякого гостеприимно и оживленно, и вот ей-то не раз случалось обронить "лишнее" словечко. К тому же друзья героической эпохи, которых можно было встретить у него на Петра и Павла, — Лазаревич, Суварин, Боди (двое последних умерли недавно), ученики из числа самых преуспевших, назначавшие друг другу свидания у него дома, послы вроде Жана Лалуа, инженеры, духовные особы — все они создавали представление не только о действенности преподавания Паскаля, но и о богатстве его загадочного большевистского прошлого в России. Я появился слишком поздно, чтобы познакомиться у него с Николаем Бердяевым или Алексеем Ремизовым, но еще достаточно рано, чтобы увидеть Бориса Зайцева, старейшину русских писателей в Париже в 50-е годы, и Георгия Адамовича или Владимира Вейдле — поэтов и утонченных эстетов. После конкурса на должность преподавателя русского языка и моих собственных треволнений в России моя дружба с учителем еще больше окрепла. Кончина Эжени Паскаль в 1963 году, выбившая его из колеи на несколько лет, совместная поездка в Рим — вот этапы нашего сближения, которое привело к тому, что в один прекрасный день он показал мне крохотные записные книжки, мелко исписанные карандашом, — "Русский дневник". Я счастлив, что уговорил его опубликовать этот текст, столь подлинный и точный. Надо

было найти машинистку, достаточно самоотверженную чтобы погрузиться в микроскопический почерк "Дневника". Ею оказалась мадемуазель Коклэн, "без которой эти заметки остались бы неразобранными", как гласит посвящение к первому тому. Этот том, первый из четырех, появился в 1975; подготовка последнего, в который войдут разрозненные, менее систематические записи 1928 – 1933, еще не завершена.

Следует отметить, что, начиная с 1968, когда Паскаля стали осаждать просьбами об интервью для всевозможных передач, посвященных 50-летию русской революции, его позиция неприметным образом изменилась. До той поры столь сдержанный во всем, что касалось его активного большевистского прошлого и семнадцати лет в России, он заговорил, и заговорил публично. Ничто в его прошлом никогда не смущало его, во всяком случае – насколько мне известно. Он был марксистом и, в известном смысле, им оставался до конца жизни он работал над социально-экономической панорамой Российской империи в 1913, и литература была для него только надстройкой, отражающей на свой лад явления общественной жизни. Он был католиком и остался им: каждый день у обедни, благочестивые чтения, статьи для "Catacombes", дружба с духовными лицами (в частности, с кардиналом Фельтэном, архиепископом Парижским). Но в СССР он предстал перед "партийным судом" за свою двойную преданность – марксизму и христианству. Стасова, секретарь ЦК, яростно на него нападала, Бухарин успешно защищал. В неопубликованном интервью, которое я взял у Паскаля в 1969 для "Архива XX века", передачи Жан-Жозе Маршана, так и не вышедшей в эфир, он следующим образом отвечал на один из моих вопросов

— Как же вы оправдывались перед этим страшным трибуналом?

— Я уж не помню точно, но, должно быть, примерно вот как. В марксизме есть, грубо говоря, две части. Экономическая, против нее у меня серьезных возражений нет, ее можно оспаривать. И философская, материализм. Тут я не согласен категорически. Вот и святой Фома Аквинский – у него тоже есть часть догматическая и затем нейтральная часть, она может быть политической или какой-нибудь еще, с нею можно спорить. Может быть, доводы не слишком основательные, но должен при-

знать, что допрос вели инквизиторы не такие уж грозные, все уладилось благополучно. Они просто решили, что я не могу быть секретарем французской коммунистической секции, а для меня это была не потеря”

Я привожу эти слова, чтобы осветить ядро личности Пьера Паскаля — парадокс “христианского большевика”, как я назвал его в одной статье, появившейся еще при жизни Паскаля¹. А также — чтобы показать безмятежное спокойствие, с каким Паскаль судил о собственном пути. С 1923 — 1924 он считал, что русская революция, которую совершила не Партия, а народ, и стимулом которой была неотступная моральная взыскательность, стала пленницей Партии. И что сам он не связан солидарностью с тюремщиками революции. Конечно, тут был некий парадокс, который трудно растолковать, и сдержанность Паскаля между 1936-ым, когда он еще снабдил предисловием брошюру рабочего-бретонца, возвратившегося после двенадцати лет, проведенных в России (псевдоним автора — Ивон, настоящее имя — Гизнеф, заглавие брошюры — “Во что превратилась русская революция”), и 1968-ым, когда он снова согласился отвечать на вопросы о своем революционном прошлом, объясняется рядом конкретных обстоятельств (диссертация, университетская и ученая карьера, война), но также и трудностью высказать во всеуслышание, как это возможно — безоговорочно осуждать советский коммунизм, ни в какой мере не отрекаясь от моральной Революции 1917 и почти не отрекаясь от Ленина. Я полагаю, что, в известном смысле, события 1968 во Франции, и, в частности, в моем бывшем университете Нантерр, где старый друг Паскаля анархист Николай Лазаревич обрел тогда вторую молодость в студенческих боях, помогли Паскалю вновь заговорить. Новое разъединение революционного идеала и “большевистского абсолютизма” послужило благоприятствующим условием. Так Паскаль вступил на путь известности гораздо более громкой, чем слава переводчика и слависта, которой он пользовался между 1936 и 1968. Отблеск “великого света с Востока”, он становится одним из ветеранов, к которым могла обращаться молодежь, чтобы узнать побольше о событиях века — о захвате власти Лениным, о “пленении” русской революции партией Ленина...

О своем детстве и семье Паскаль оставил нам текст, озаглавленный “Мой отец Шарль Паскаль”². Коренной овернец,

Шарль Паскаль преподавал латынь сперва в провинции и в Версале, а затем в лицее "Жансон де Сайи". Каникулы семья проводила в Иссуре. "Россия была в моде, и в лицее ввели курс русского языка; курс был недолговечен, но родители, видя мой живой интерес, пригласили частного учителя. Я уже мог читать русскую газету со словарем, когда мне случайно попался революционный листок, в котором я нашел такое извещение, адресованное французской буржуазии: как только мы придем к власти, мы откажемся признать долги царизма. Я предупредил родителей, но они мне не поверили". Так юный Пьер Паскаль встретился со знамением будущего. "Буржуазность" семьи была ему не по душе, и этот короткий текст ясно свидетельствует, что он ставил в вину матери, — "лиможской барышне", уверенной, что ее брак с простым учителем был мезальянсом, — буржуазное ярмо, которое та взвалила на отца. Особенно его возмущало обращение с прислугой: "Их помещали, где придется, кормили объедками с хозяйского стола, требовали услуг в любое время дня и ночи, безжалостно выставляли за дверь в случае болезни, без конца указывали на их место. Но мой отец в этих домашних делах вообще не имел права голоса".

В то же самое время, когда "религия буржуа" внушает отвращение юному Пьеру Паскалю, былины приводят его в восторг. В 1910 и 1911 он едет в Россию, на встречу со страной, которую боготворит. Он открывает красоту Киева, посещает лицей в Нежине, где ему показывают ученические тетради Гоголя, оттуда отправляется в окрестности Полтавы, к крупному помещику Неплюеву, который подарил свои земли крестьянам, общине в селе Воздвиженское.

То, что молодой студент Эколь Нормаль, вольно странствовавший по России (есть чему позавидовать сегодня!), навестил эту крестьянскую коммуну в Воздвиженском, — не случайно. Он побывал там по совету аббата Кене, автора диссертации о Чаадаеве, убежденного славянофила и ученика аббата Портала — лазариста, основавшего в Париже, на улице Гренель центр по изучению России и перспектив соединения церквей³. Мысль аббата Портала сыграла важнейшую роль в духовном созревании Пьера Паскаля: своим социальным христианством, близким к журналу и движению "Sillon" ("Борозда") Марка Саннье, своим восхищением русской духовностью, своим отказом от проповеди индивидуального обращения в католичество, своим про-

ектом соединения русской православной церкви с католической, при котором каждая будет заимствовать у другой, отец Порталь оказал решающее влияние на целую группу духовных лиц, которых позже, в 1917, — когда делались попытки сближения с Лениным и Троцким и когда провал профессиональных французских дипломатов, самодовольных и совершенно не знавших страны, обнаружился полностью, — Клемансо решит отправить с официальной миссией в Россию. Так уже в 1910 юный Паскаль, под руководством аббата Кене, открывает свой путь: воодушевленное изучение русской духовности и русского общества в их наиболее оригинальных, наименее "западных" аспектах.

Возвратившись на рю д'Ульм, Пьер Паскаль активно участвует в кампании против "закона о трех годах" военной службы. Позже, в 1929, в Москве, он пишет о тех временах: "Моим товарищам-католикам я старался показать антихристианский, антикатолический характер патриотического идолопоклонства, изобретенного буржуазией взамен религии Родина всегда казалась мне подобием медного кумира, исполинского и варварского, которого толпа в исступлении раскаляет до воя в самом металле и без конца наполняет молодыми человеческими жизнями". Студент Эколь Нормаль, истово верующий, нонконформист и антипатриот, он возмущается свирепствующей во Франции "мерзостью — воспитанием ненависти между народами". Русский царизм кажется ему прекрасным по сравнению с этой демократичной и парламентской "мерзостью".

На следующий год, в 1911, Паскаль снова в России, в Петербурге; он находит "замечательную тему" для дипломной работы: Жозеф де Местр в России. Он пожирает журналы и документы (благо, встретился библиотекарь, всегда готовый помочь); в полдень он обедает в столовой публичной библиотеки в обществе Андре Мазона, который пишет диссертации о Гончарове, и Андре Лиронделля, работающего над Алексеем Константиновичем Толстым. Все находились "под покровительством" Санкт-Петербургского Французского института, который открылся осенью того же года. Он принят у историка Кареева и филолога Шахматова. Он в восторге. Но он должен вернуться — для конкурсных экзаменов по французской филологии, открывающих доступ к государственной службе, и для выпускного экзамена в Школе восточных языков. К счастью, в Париже

он оказывается в обществе аббата Порталья и его учеников — аббатов Кене и Грасье; последний работает над Хомяковым. Все они мечтают о соединении церквей в духе соловьевской "России и вселенской церкви", вышедшей по-французски в 1886 г. Вот как Паскаль описывает себя тогдашнего. "Я еще не был по-настоящему университетским человеком. Не знаю, стал ли впоследствии, но в ту пору я был выпускником Эколь Нормаль — и только! С идеями, не вполне университетскими, в роде этого же самого интереса к России. Меня очень занимала идея соединения церквей. Вот почему меня очень привлекала религиозная сторона России. В целом и по сути к религии меня привел Боссюэ. Идея соединения церквей добавилась к моей прежней религиозной позиции, идущей от Боссюэ"⁴.

Паскаль сдает конкурсные экзамены первым, но должен волей-неволей отбыть воинскую повинность. Одному из товарищей по рю д'Ульм, Кассаньо, он пишет в январе 1914 "В этом году я ощущаю чаще, чем когда-либо, бессмысленность положения, в котором я нахожусь, и суетность той жизни, которую нас заставляют вести". Но вот вспыхивает война. Паскаль — лейтенант, он тут же уходит на фронт. Рана под Эпиналем, отправка на Дарданеллы, новая рана и возвращение во Францию, в Гренобль. Затем его откомандировывают в распоряжение Генерального штаба, куда его рекомендовал Поль Бойе, директор Школы восточных языков. Паскаль знает русский язык. "Вы знаете русский — займитесь дешифровкой болгарских телеграмм", — объявляет ему некий полковник в Шантийи. Наконец, в апреле 1916 он отправлен во Французскую военную миссию в России. Он сходит на берег в Архангельске с борта "Шампани", на которой он плыл в обществе Гюстава Вельтера. Паскаль невысоко оценивает сотрудников по миссии и еще ниже — задачу французского агитатора, которая поручена ему лично. В Могилеве, в Ставке, он получает награду из рук Николая Второго. "Он не произнес ни слова, вид имел мрачный и подавленный; у меня такое впечатление, что он подавлен всеми событиями". Паскаль следит за событиями по русским газетам, знает о "заговоре Великих князей", видит, до какой степени власть расшатана, в частности — Союзом городов. Наконец, приходит февраль 17-го — огромная "разрядка всего, что было сжато так долго". Лейтенанта Паскаля посылают на Северный фронт — убеждать русских солдат в необходимости возобновить наступ-

ление. Но усилия союзнической пропаганды наталкиваются на безмерную озлобленность. Вдобавок Паскаль сочувствует тем, кто с ним спорит. Он заносит в записную книжку: "Из всех народов мира русские всего меньше согласны подчиниться принуждению. Военная дисциплина всегда казалась им дьявольской выдумкой. У русского народа обостренное чувство трагического характера этой войны, нежеланной и бессмысленной, которой и все человечество не должно хотеть и от которой он не может избавиться".

Режис Ладу, разобравший архив аббата Порталья, указывает в своей диссертации, что Паскаль в ту пору усердно переписывался с отцом Порталем и что уже в декабре предсказывал близкое восстание. Приготовленный к этой мысли трудами Леруа-Болье, а также Кене, аббат продолжает работать над своим планом соединения церковью после октября 17-го. Его принимает Клемансо, которому он предлагает отправить в Москву свою "русскую бригаду" из шести человек. Среди них — аббаты Грасье и Кене, среди них — и Пьер Паскаль, "скромный юноша, которого надо уметь оценить и который способен принести неоценимую пользу". Идея Порталья: необходимо больше, чем когда-либо, "доказать русским, что, вопреки всему, мы не намерены бросить их на произвол судьбы".

Отправка "миссии Порталья" в Россию не состоялась: посол Нуланс сумел ее провалить. По-видимому, именно этой неудачей можно объяснить отказ Паскаля вернуться во Францию (октябрь 1918), его переход на сторону большевиков, его участие в создании коммунистической французской секции в Москве (сентябрь 1918). "Петроград сегодня, — пишет Паскаль 26 декабря 1917, — невиданные донныне подмости. На них разыгрывается поединок двух обществ — нынешнего и вчерашнего. Понять друг друга они не могут, они лежат в разных плоскостях. Общей почвы они не знают, потому что, помимо самих себя, они не признают ничего. Общую почву можно бы найти — это Церковь, потому что она над ними обоими, но ни те, ни другие не желают ее признавать, и потому обречены: одни — на гибель, другие — на неудачу. Все, что говорится против большевиков (т.е. социалистов, потому что единственно последовательные социалисты — это они), что они предатели, агрессоры, сеятели смуты, с сегодняшней точки зрения совершенно верно. Но это и не может, и не должно их трогать, потому что они

объявили войну нынешнему обществу и не скрывают этого”

В сентябре 1918 Паскаль, преданный церкви более, чем когда-либо, ходит ежедневно к обедне, следит за трудами Собора православной церкви, посещает философско-религиозные собрания (там он знакомится с Андреем Белым), отмечает с сожалением. ”Я разделяю социалистическое учение, оно прекрасно и истинно до того момента, пока не отрицает христианства; и я христианин, не отрицающий социализма. Осуждать социализм несправедливо: он еще сам не знает, что он такое”

Лейтенант Паскаль обвинен в измене, в ”святотатстве против отечества”. Он находит утешение у русского народа и у нескольких друзей-французов, которые его понимают. ”Под усыпанным звездами ясным небом как сладко беседовать с Марселем Боди о России. доброта, чистота, истина, великодушие, безумие человечества, человек, жалкий в своем убожестве и великий в своих трудах и чувствах, трагизм сегодняшнего положения...”

В апреле 1917 Паскаль ходил слушать Ленина, прибывшего из Финляндии. Ему понравилась ленинская манера речи, простая и решительная, обильные поговорки, ”провинциальный выговор”. Революция была следствием евангельского христианства русского народа. На красных знаменах значились православные литургические формулы, вроде ”миру мир”, сама жизнь преображалась по евангельским заветам. Паскалю было 27 лет, война оторвала его от обычного начала преподавательской карьеры (русская кафедра, учрежденная для него в Лионе, осталась пустой). Он был в стране, которую любил, еще связанный с Францией своей принадлежностью к Военной миссии, но — все менее и менее, потому что, в его глазах, Франция только и знала, что ”пакостить” России. В ”Дневнике” он взывает почти молитвенно ”О русский народ, ты ищешь блага, а тебя обманывают всегда и повсюду!”

Рассказать историю ”коммунистической деятельности” Пьера Паскаля еще невозможно. В настоящее время и во Франции, и в США пишутся диссертации о политической роли Паскаля, о его влиянии во Франции, о ”деле Паскаля” в архивах французского военного министерства. В апреле 1929 ”Excelsior”, газета с большим тиражом, дала ”шапку” ”Два французских большевика. бывший лейтенант и воспитанник Эколь Нор-

маль Паскаль, бывший журналист Рене Маршан”, — и привела высказывания Паскаля: “Здесь правит новый разум, к нему нужно привыкнуть. Когда поймешь, начинаешь удивляться, как можно было жить до рождения большевизма”. Читая “Русский дневник”, мы убеждаемся, что в России и в коммунизме Паскаль нашел свою “большую семью”. Его восторг не знает границ. Осуществляются пророчества Псалма: могущественные низвергнуты с престола, и бедный поднят из грязи.

Паскаль движется путем, как раз обратным пути Максима Горького, одного из духовных отцов Революции. Горький не мог смириться с тем, что Революция конфискована “господами Лениным и Троцким”. В передовых статьях своей газеты “Новая жизнь”, которые он озаглавливает “Несвоевременные мысли”, Горький жалуется на цензуру, на власть черни, на разгул варварства, “русской азиатчины”. 22 марта 1918 он пишет: “Если я вижу, что политика советской власти “глубоко национальна” — как это иронически признают и враги большевиков, — а национализм большевистской политики выражается именно “в равнении на бедность и ничтожество”, — я обязан с горечью признать: враги — правы, большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов”. Паскаль же, напротив, восхищается добротой, смирением, находчивостью народа. “Грубых инстинктов” он не желает замечать. Отмену формальных свобод приветствует с энтузиазмом (“По частным соображениям, я всегда был интернационалистом, врагом капитализма и парламентаризма”)

В семье французских коммунистов в Москве не обошлось, естественно, без раздоров, вражды. Не остался в стороне и Паскаль: вместе с Жанной Лабурб, вскоре убитой в Одессе, он основывает свою группу. Внутри бывшей французской колонии он пользовался настоящей “консульской властью”. Луиза Вейсс побывала у него в 1921 и была свидетельницей того, как он грубо напустился на злополучную француженку, в прошлом учительницу, которая пришла просить помощи у “высокопоставленного соотечественника”. Вот его слова в передаче Луизы Вейсс “Кто вы такая? Чего вам от меня нужно? Мне плевать на ваших аристократов и их несчастья, мелкобуржуазная идиотка! Паразитка на теле капиталистического строя! Вы не воспита-

тельница, вы враг, мешающий социализму проникнуть в контрреволюционные логова феодализма! Вы остались в живых — чего же вам еще? Убирайтесь вон, гадюка!” Возможно, Луиза Вейсс несколько преувеличивает, но “евангельский большевик” Паскаль, осаждаемый со всех сторон французами, которые сбились с толку и с пути в революционной буре, уж конечно, не был ласков с “паразитами капитализма”, не способными понять пришествие “нового человека”. И все же он спасает многих, организует продовольственную помощь “Французскому приюту” и в своих записных книжках утверждает: я никого не посадил в тюрьму.

Пьер Паскаль поселяется в деревянном доме богатой купчихи, торговавшей зонтиками, в Денежном переулке — “Траверс де ля Моннэ” (он обожает переводить на старый добрый французский названия, слышущиеся непереводаемыми) — с Боди (простым солдатом), Садулем (капитаном) и Робером Пети (“Боб”). Он работает в Народном комиссариате иностранных дел — секретарем Чичерина, человека утонченного, страстного любителя музыки, ушедшего в революцию несмотря на аристократическое происхождение. Паскаль присутствует при основании Третьего интернационала, каждую ночь выступает по радио с обращениями по-французски, написанными им самим или продиктованными Чичериным. Он максималист до такой степени, что Чичерин вынужден его утешать, когда дает ему перевести положительный ответ на проект Мирной конференции в Париже, предложенный Ллойд-Джорджем. Паскаль задыхается от негодования при мысли, что советская власть будет вести переговоры с белыми под эгидой Антанты. Впрочем, Колчак и Деникин расстроили эту встречу...

Гильбо, социалист-пораженец, друг Ленина, прибывает из Швейцарии на учреждение Коминтерна. Неистовые споры между ним и Садулем сотрясают коммунистическую французскую секцию. 30 января 1920 секция распущена, назначен комитет для ее перестройки. Садуль даже сеет слухи, будто Паскаль задумал его убить. Паскаль отмечает: “Как все это мелко и гнусно! Право, и я всегда это говорил — есть большевизм доброго русского народа, жертвенного, убежденного, наивного даже, идеалистического, и есть политика Центрального комитета, марксистского, интеллигентского (некоторые говорят — еврейского, но это неверно), дипломатического, бессовестного.

К счастью, чаще всего она совпадает с большевизмом масс". В ту пору, по инициативе Радека, Паскаль читает курс о Франции студентам Московского университета.

В 1921 Паскаль встречается с секретарем-машинисткой Коминтерна Евгенией Русаковой, дочерью русского эмигранта-социалиста, который жил в Марселе и был выслан из Франции в 1918. Во второй том "Русского дневника" Паскаль включил дневник своей жены, озаглавленный "Терзания одной семьи", — текст, брызжущий недобрым остроумием и рассказывающий о том, как юная девушка из Марселя оказалась в гуще советского хаоса 1918–1919. Женни становится спутницей Паскаля в 1921; они поженятся гражданским браком во французском посольстве перед отъездом из Москвы и обвенчаются в церкви в Нейи в 1933. У Женни две сестры. Одна была замужем за бывшим анархистом, обратившимся в большевизм, Кибальчиком, известным под именем Виктор Серж. С появлением Женни повседневная жизнь становится менее аскетической. С 1921 и вплоть до отъезда в 1933 Паскали живут в номере бывшей гостиницы "Малая Парижская". Собирается Второй конгресс Коминтерна. Приезжают Борис Суварин, Шарль-Андре Жюльен; глава делегации — Лорио. Паскаль и Женни их принимают, завязывается дружба. "Блокада" слабеет: что-то вроде новой Франции навещает группу — столь узкую! — французских коммунистов в Москве. Впоследствии Борис Суварин, главный виновник "Турского раскола", укажет. статьи и радиogramмы Паскаля сыграли решающую роль в том, что он примкнул к большевизму.

Паскаль становится пропагандистом советского государства в крайне левой печати. Обширная, но все же неполная библиография его работ и статей, которую мы находим в "Паскалевских сборниках" 1961 и 1982 годов, начинается брошюрой 1920 года "В красной России, письма французского коммуниста", изданной Коминтерном и перепечатанной в Париже книжной лавкой "Humanité" и заботами Бориса Суварина. Следующая брошюра, "Нравственные итоги Советского государства", появилась в "Cahiers du travail" в 1921. Экономическое и нравственное равенство, восстановленное человеческое достоинство, отмена классов, явление нового, коммунистического человека — вот главные темы, которые затрагивает Паскаль. "Без крика и шума коммунизм приступил к геркулесову труду пре-

ображения русского человека”, и ”новый человек эпохи коммунизма уже не в зародыше только, не в отдаленном утопическом будущем. Он живет, он растет, он множится”. Чтобы защитить Революцию, нужна ЧК. Паскаль посещает лагерь-тюрьму в бывшем монастыре на Соловецких островах. Чувство, которым проникнуто его описание Соловков, граничит с восторгом. Как пишет Кристиан Желэн в своей последней книге⁵, ”вера Паскаля позволяет ему превратить зловещую Чрезвычайную комиссию в полицию почтенную, великодушную, справедливую, пекущуюся о судьбе каждого”. Чрезвычайные комиссии — это ”активные участники в деле экономического преобразования страны”.

В 1977 Фред Купферман спрашивал у Паскаля, что тот думает задним числом о своем восхищении революционными тюрьмами. Паскаль ответил: ”Я возвращаюсь мысленно в те времена, когда я ездил по лагерям. Мой оптимизм поражает меня. Я видел все в розовом свете. Это не было заблуждением на все сто процентов. Просто я не связывал причин и следствий. Вот пример: я писал, что проституция исчезла, и это была правда, но проститутки выслали в Сибирь, а этого я не знал”⁶. Что это — слепота, лицемерие или, может быть, бесчувственность? Подчеркнем, прежде всего, что он был настоящим мистиком русской революции. Анархист Морисиус пишет о нем в своей книге ”В стране советов” (1922): ”Пьер Паскаль, вероятно, единственный западный выходец, который о Западе не жалеет. Его природный мистицизм еще возрос от соприкосновения с русской мистикой... Он живет уединенно, ни в какие склоки не вмешивается и упорно делает свое дело”. Он ”обратился в коммунизм”, как идут в монастырь.

Паскаль — та загадочная личность, которую видели на трех международных конференциях, где впервые участвовала советская власть. Чичерин привез его в Геную и в Рапалло в марте и в апреле 1922. Французский министр Барту издавал ”тремоло бедствия”. Все показывали пальцами на французского перебежчика, ”осужденного заочно”⁷, который состоял в ранге переводчика в советской делегации. Товарищи по Эколь Нормаль пишут ему и навещают его; так, профессор Бастид из Монпелье просит у него экземпляр большевистского ”Уголовного кодекса”. Массовая печать во Франции сообщает, что

Паскаль выехал на Запад, чтобы начать переговоры с Папским престолом. Карикатурист Гассье набрасывает карандашом на обороте меню в ресторане гостиницы "Империяль Палас" (там помещается советская делегация) Пьера Паскаля: с шарфом мэра через плечо он совершает бракосочетание Карла Маркса с Пием XI... Отец Паскаля приехал в Рапалло на встречу с блудным сыном.

В июне Литвинов привозит Паскаля на конференцию в Гаагу. По всей очевидности, он пользуется полным доверием большевиков. Его статьи появляются теперь регулярно в "Clair-té" и в "La Correspondance Internationale". Однако сомнения уже грызут Паскаля. Штурм восставшего Кронштадта, возглавленный Тухачевским по приказу Троцкого, смущает его, он ощущает лживость официальных сообщений, он восхищается мужеством матросов, учредивших свою коммуну. В день сокрушения их коммуны — в Москве празднуют годовщину Парижской коммуны. В 1922 Паскаля просят свидетельствовать на процессе партии эсеров. Суд был вопиющей несправедливостью Паскаль выступал свидетелем на этом единственном в своем роде процессе, повлияв этим на Садуля и Суварина НЭП был для него "поражением революции, единственной революции, которая меня интересует, о которой мечтал русский народ, которая сулила новый мир, не знающий ни одного из наших изъёнов". Сомнения растут, но на протяжении всего 1923 года Паскаль продолжает работу пропагандиста.

Разочарование останавливает на время писание "Дневника" Зато Паскаль возобновляет свои путешествия по России Он едет в верховья Волги и очарован "этой жемчужиной Северной Руси". Он останавливается в Угличе, где был убит царевич Дмитрий и построена церковь "На крови". Три лета подряд он проводит в Крыму, в бывшем помещичьем имении, где возникает "коммуна". Паскаль и его подруга, Лазаревич, два итальянских анархиста, нашедшие политическое убежище в СССР после захвата власти Муссолини, позже Борис Суварин, бретонский рабочий Гизнеф... "Коммунары" разводят и продают редиску, покупают у соседей-татар местные сладости, задаются без конца нравственной проблемой, может ли коммуна нанимать рабочую силу...

В один прекрасный день, в октябре 1924, ГПУ устраивает в коммуне обыск и изымает номера "Libertaire"... Летом 1925

Паскаль пускается в долгое странствие, которое, в конце концов, приводит его в Ашхабад. Он открывает русский "колониализм" Суварин исключен из Французской компартии, но Паскаль продолжает сотрудничать в "Bulletin communiste", который остался под руководством Суварина. Суварин публикует его под разными псевдонимами — "Киевлянин", "Игорь", "Леонид" и др. Паскаль сотрудничает также в "Révolution prolétarienne" Монатта, исключенного за несколько недель до Суварина. Борьба за власть находит в нем наблюдателя сугубо нейтрального. "Ленин был героем, теперь героев производят", — пишет он, комментируя похороны Фрунзе, раздутую пышность этих похорон. По его мнению, революция стала пленницей. "Мы имеем дело с революцией буржуазной, только не вполне обычной". Государство сохранилось, оно угнетает рабочих; сохранилось и слово "социализм", но Паскаль теперь "ломает голову, стараясь угадать, что это значит на самом деле" ("Мое настроение", письмо к Розмеру от сентября 1923). Разумеется, между потерей коммунистической веры и прекращением служебной и пропагандистской деятельности пройдет некоторое время. В 1925 Паскаль уходит из отдела печати Коминтерна и поступает на должность "научного сотрудника" в Институт Маркса—Энгельса, которым руководил бывший меньшевик Рязанов. Это тихая пристань для бывших энтузиастов. Паскаль работает во Французском кабинете над архивом Гракха Бабёфа, который Суварин купил у Анри Роллэна, редактора газеты "Temps". Рязанов был человек благожелательный и либеральный, Паскаль его предупреждал "Я, знаете ли, совсем не марксист", на что Рязанов ответил. "Это не имеет ровно никакого значения" Рязанов был арестован в 1929, сослан в Саратов, и там и погиб вместе с женой. Одно письмо к Пьеру Монатту от 1927 показывает довольно точно, в каком состоянии духа находится Паскаль. Он считает, что настал период Директории. Время благоприятствует расторопным и проворным. Оппозиция почти неотличима от большинства; правда, "она говорила о "демократии внутри Партии", но это пустые слова в устах таких закоренелых тиранов, как Троцкий, Зиновьев и их шайка". Россия идет к американизации и к социал-демократии ..

Мало сказать, что Паскаль разочарован — ему все опустылело, и он без колебаний идет на риск, лишь бы известить внешний мир, что Революция предана. Так, в 1925 он передает

текст "Завещания Ленина" Анри Торесу, защищавшему убийцу Петлюры и приехавшему в Москву в поисках документов, оправдывающих его подзащитного. Марсель Боди описывает, как происходила передача этого секретного документа в доме Паскаля⁸ ... Паскаль живет уединенно, встречаясь лишь с несколькими "бывшими", разочарованными. С насмешкой он следит за лицемерными празднествами 10-й годовщины Октября; он видит, как обхаживают Барбюса, который позволяет себя купить за несчетные королевские милости. Обманутый в своих надеждах, Паскаль мог бы вернуться, как Садуль, уголовное дело против которого было во Франции прекращено за отсутствием состава преступления. Но он и не думает об этом, он — "русский", он обращается к глубинной России, хотя в то же время заканчивает работу над антологией ленинских текстов в трех томах, которые выходят по-французски в 1926-1927 под названием "Избранные страницы Ленина"; комментарии и разъяснения Паскаля отличаются большой точностью, в них нет ни малейшей уступки "культу".

На эти годы приходится упоительная встреча с Житием протопопа Аввакума. То было ученое издание 1916, где-то конфискованное; Паскаль случайно обнаружил его в подвале своего Института. Я приведу отрывок из предисловия к его докторской работе "Аввакум и начало раскола" (Париж, 1938) "Я начал читать эту "Жизнь", и был очарован с первых же строк. После газетного и книжного жаргона, почти что международного, это был чистый и сочный русский язык, язык всего народа до Петра Великого и еще сегодня живой язык крестьян на Севере. В противоположность марксистской "социологии", которая тогда заменила историю и свела все развитие человечества к схеме революций и контрреволюций, это был московский XVII век, яркий и разнообразный, то отдаленный, то столь схожий с XX-м! Вместо "исторического материализма", который отрицал не только Бога, но и человеческую личность и засорял мозги неотступно, до умоисступления, тут была избранная душа, глубокая и серьезная, неукротимая до самой смерти, питавшая свой гений именно верою в Провидение и неизменной приверженностью сверхъестественному". Паскаль погружается в русский XVII век, раздираемый нетерпимостью, век отчаянного сопротивления "старой веры" реформам патриарха Никона — как в ту же пору Пор-Рояль сопротивлялся королевской влас-

ти Людовика XIV. Старообрядцев и янсенистов объединяет "покаяние в огне и крови", "трепет перед грозным Богом, более близким к Иегове, чем к евангельскому Доброму Пастырю", и, в особенности, требование моральной реформы, отказ от компромиссов ..

Три лета подряд (1926-1928), по приглашению одного из приятелей, Паскаль ездит в глухую заволжскую деревню и систематически изучает архитектуру, хозяйство, быт русской деревни, живущей по старинке, затерявшейся в лесах, которые всегда были твердыней Старой Веры. Впоследствии, в 1966, он превратит свои тогдашние заметки в статью, — почти что этнографическое исследование, — и озаглавит ее "Моя русская деревня сорок лет назад". А в следующем году корреспондент "Комсомольской правды" напишет в ответ другую статью — изображающую ту же деревню сорок лет спустя... Под искусственной оболочкой Советов Паскаль открывает внушительные остатки "мира" — старинной сельской общины с ее основным нравственным принципом взаимопомощи. Ученый овернец, он вспоминает "помочи" в Верхней Оверни, основанные на том же принципе. "И отсюда я пришел к мысли о крестьянской цивилизации, которая существует реально, что бы там ни говорили, этической цивилизации, несущей в себе все, что может нести любая цивилизация, и материальной, и правовой, и художественной" (Интервью 1969) Чтобы узнать побольше о старообрядцах, Паскаль становится усердным посетителем Рогожского кладбища и сходится по-приятельски с сыном старообрядческого священника.

Он следил и за литературной жизнью. Он сразу оценил "Двенадцать", послал радиogramму о смерти Блока; он бывал у Бердяева вплоть до высылки последнего в 1922 (в Париже они встретились снова); он слышал Есенина в 1918 и шел за гробом поэта после его самоубийства в 1925. Но в целом литературный процесс 20-х годов не очень его интересовал: в его глазах все было заражено формализмом — будь то футуристы, будь то Серапионовы братья, будь то собственно формалисты. Зато, начиная с 1925, он дружил с самым знаменитым из "попутчиков", купеческим сыном из поволжских немцев, автором "Голого года" — Борисом Пильняком. В марте 1933, когда Пьер Паскаль пускался в свой великий возвратный путь, Пильняк был единственным русским на перроне московского вок-

зала Арестованный в 1937 по обвинению в шпионаже, Пильняк погиб в лагере Нет никакого сомнения, что та же участь ожидала и Паскаля с женой, если бы они не вернулись во Францию. В день проводов Паскаля Пильняк подарил ему свою последнюю книгу ("Рассказы", Изд. Федерация, 1932) со следующей надписью:

"В прощальный день —
в московские морозы
пред парижской весной"

Я слышал разные версии этого возврата. Известную роль в нем сыграли Анри Валлон и Андре Мазон. Но также — и философ Луи Рожье. Выездной визы для Паскалей добился Эдуард Эррио. Эжени Паскаль, которая, как она говорила, "очень струсилась", убедила своего непреклонного спутника жизни вернуться к "буржуям"⁹. Суварин нашел им квартиру в Нейи, рядом с собой Паскалю пришлось ждать четыре года, пока он был снова допущен к государственной службе. В 1936 он получил назначение в Лилль, в 1937 — в Школу восточных языков в Париже и, наконец, в 1959 занял кафедру Рауля Лабри в Сорбонне. В 1938 он защитил две докторские диссертации. С тех пор его ученая и преподавательская карьера протекла без осложнений до самого выхода на пенсию в 1969. Пьер Паскаль не оторвался от своей "русской религии". Более того она наложила отпечаток на все его огромное творческое наследие — историка, переводчика, исследователя русской литературы и религиозной мысли. Но необыкновенные приключения овернского мистика, обратившегося в русский коммунизм, остались навсегда позади.

Первая группа работ Пьера Паскаля посвящена истории религии — в России, само собой разумеется, но также и во Франции XVII столетия. Его работы об Аввакуме проникнуты восхищением перед убежденностью и героизмом протопопа, чье мученичество на костре в Пустозерске 14 апреля 1682 усугубило церковный раскол. "Зарождавшееся бездушное государство" показало, что оно точно оценило опасность, которою угрожала ему бестрепетная душа Аввакума.

Статьи о походе Пашкова, о старообрядческой эсхатологии, о митрополите Макарии и его больших литературных начинаниях дополняют это важное исследование, столь же незаменимое сегодня, как и вчера. Другие статьи — о западном благочестии, о духовности Пор-Рояля, о Жане Жерсоне, об Ордене Свято-

го Причастия — образуют вместе с "русскими" статьями своего рода диптих. Для Пьера Паскаля поиски чистой веры в России были такими же пламенными, как во Франции, но потерпели неудачу из-за того, что государство наложило руку на религию, и нашли убежище в том, что он назвал "народной религией"

Эта "народная религия" — религия русского крестьянина И Паскаль посвящает русскому крестьянину несколько великолепных этюдов, в частности, — "Крестьянка Северной России" ("Revue des études slaves", 1930) и "Крестьянская цивилизация в России" (лекция "про вениа легенди", читанная в Лилле в 1936 и опубликованная в 1937 в "Revue d'histoire de la philosophie et d'histoire générale de la civilisation") К этой же группе работ о крестьянской цивилизации в России относится статья о Есенине, "поэте русской деревни" ("Oxford Slavonic Papers", 1947)

Расширяя сферу своих исследований, Паскаль становится историком в широком смысле слова. Всем студентам известна его "История России с древнейших времен до 1917" (1946), менес известен его замечательный "Пугачевский бунт" (1971) — оригинальный и ученый монтаж архивных документов. В конце жизни Паскаль работал над проблемами русского общества в 1913 году, и эта незавершенная работа может превратиться в важную посмертную публикацию.

Труд переводчика неизменно сопутствовал труду историка и даже иногда опережал его. Переводы "Жития протопопа Аввакума", "Девгениева деяния", древнерусского извода "Иудейской войны" Йосифа Флавия. К ним надо прибавить бесчисленные литературные переводы: Достоевский, Толстой, Короленко, Ремизов. С Ремизовым Паскаль дружил и был возведен в чин протопопа ремизовской "Великой Обезьяньей Палаты"

Как историк литературы Пьер Паскаль остается, прежде всего, автором двух больших исследований о Достоевском. В одном из них, вышедшем в серии "Писатели перед Богом" (1969), он анализирует бесчисленные ссылки Достоевского на Христа-Богочеловека и его молчание о Христе как о Второй Ипостаси Троицы и делает вывод, что "в какой-то миг своей жизни Достоевский, должно быть, пошел на "пари" о существовании Господа Бога. Достоевский так рассуждал: доказать истинность моей православной религии я не в состоянии, но я должен исповедовать ее, потому что это отвечает строю моего мышления в целом, моего этического мышления, моего повсе-

дневного мышления. Да он и прямо говорит: религия — это, в первую голову, дело чувства” (Интервью 1969). ”Соглашение”, достаточно чуждое Пьеру Паскалю, который, со своею томистскою подготовкой, не испытывал нужды в оправдании веры ссылками на чувство. Но личность Достоевского очень ему близка, тем более, что он освобождает ее от всех двусмысленностей, нагроможденных психоаналитиками и фрейдистами Достоевский верующий христианин и социалист, остававшийся социалистом всю жизнь, даже после прихода к политическому консерватизму, — вот какой Достоевский близок и дорог Паскалю. Пример для подражания, в своем роде.

Так повсюду в необозримом творческом наследии Пьера Паскаля, ”сокровищнице эрудиции и интуиции, посвященных русскому народу, его мыслителям, его поэтам” (Жан Лалуа), мы обнаруживаем одну и ту же скрытую страсть — ”русскую религию” Он, поистине, антипод Кюстина. Его славянофильство идет вразрез с поверхностной традицией презрения к русскому абсолютизму и азиатчине, столь богато представленной во все времена — от Вольтера до Кюстина и от Кюстина до наших дней. Паскаль не первый французский славянофил. Леруа-Болье своей великолепной работой ”Царская империя и русские” (1881) положил во Франции начало новому подходу — уважению, вдумчивому изучению, дружескому проникновению Этот подход, усвоенный аббатом Порталем и сочетавшийся со страстным интересом к соединению церквей, каким его пророчески предвидел Владимир Соловьев в 1886, создал вокруг лазаристов французскую славистическую школу, поражающую своей энергией, точностью, оригинальностью. Остальное было делом классической культуры, привитой Паскалю Эколь Нормаль, его отвращения к французскому буржуа и его открытия ”русской крестьянской цивилизации”. Все мы, ученики Паскаля, сознательно или бессознательно, унаследовали нечто от этого тройного ”снаряжения” слависта — от точного историзма Леруа-Болье, от славянофильства аббата Порталья и его учеников, от ”идейности христианского большевика” Паскаля.

Паскаль успел прочитать Солженицына и был очарован образами ”праведников”, которые нашел в его произведениях и которые, как ему представлялось, продолжают традицию Лескова, почти неизвестного во Франции. В ”Августе Четырнадцатого” он нашел воспоминания о той трудолюбивой и самоотвер-

женной России, которую открыл сам в 1910 и 1911. Он любил "земскую Россию", всех этих деятельных и бескорыстных интеллигентов, которые самозабвенно трудились, не ожидая наград и почестей, и благодаря которым Россия 1914-го года неузнаваемо переменялась по сравнению с Россией 1861-го. В ходе интервью 1969-го года я попросил его определить свою любовь к России. Вот его ответ: "Я был глубоко поражен ее *человечностью* — это слово, наверное, всего лучше выражает совокупность достоинств, которые я нашел у русских, — чрезвычайная легкость отношений, чрезвычайная откровенность и открытость даже с чужими, тогда как во Франции я видел массу условностей... В России нет нотариусов. То есть они должны быть, но где-то прячутся, их не видно. Русские не занимаются подсчетами. Это хорошо, или это плохо, но, во всяком случае, это возможно только в стране, где существует обмен добрыми чувствами, обмен великодушием и щедростью. Так вот, в России это так, там можно быть легкомысленным, потому что знаешь. Другие тебе помогут".

Я указал ему на то, что этот русский "евангелизм" привел к чудовищному провалу, и вот что он ответил:

"— Да, конечно, в политическом плане это полный провал, провал революционных иллюзий, иллюзий, будто народ, весь народ в целом, сам, стихийно, способен создать совершенно новый строй, идеальный строй. И надо полагать, что это невозможно, даже в России, где к тому были предпосылки. Но вопрос в другом — вопрос в том, чтобы понять, сохраняются ли те качества, которые я узнал в русском народе. Трудно сказать, ведь я больше не в России, ведь за пятьдесят с лишним лет стремления, чаяния, чувства могли перемениться. И потом еще вопрос: эти достоинства — не держались ли они на той цивилизации, на том особом ее этапе, который теперь ушел в прошлое? Для тревоги есть все основания. И, наконец, людей вроде меня тревожит будущее русского народа. Но ответа на вопрос сегодня у нас нет".

Пьер Паскаль был человеком классического образования и воспитания, янсенистского темперамента, блестящего интеллекта и в то же время народолюбом. Он был, вероятно, одним из последних европейцев, живущих ради той ценности (ныне уже утраченной), из которой его учитель Достоевский сотворил себе краеугольный камень, — ради народа. Он терпеть не

мог слова "я" и, видимо, не одобрил бы попытки написать его биографию. Мне потребовалось немало времени и усилий, чтобы разглядеть яснее того, кого Борис Суварин окрестил "сфинкс Паскаль". Дружеского общения с этим несравненным учителем оказалось недостаточно потребовались розыски его забытых статей, чтение его записных книжек, изучение воспоминаний его современников, где он всегда появляется загадочно и на втором плане. Скоро труды историков осветят малоизвестные стороны его личности. Россия утолила его жажду мистицизма, его нравственную страсть, дала ему увидеть "образцы человеческой природы совершенно необыкновенные, редкие, о которых здесь и понятия не имеют". Выходец из страны и из социальной среды, ушедших далеко от христианства, Пьер Паскаль был христианским утопистом. Одним из тех, кто между 1917 и 1919 верил, что после двух тысяч лет ожидания Царство Божие утвердится на земле. И земля эта называлась Россия.

Эзри, ноябрь 1984.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Georges Niva, «L'itinéraire exceptionnel d'un bolchevik chrétien». «Le Monde», 3 decembre, 1982.

2. P.Pascal, «Mon père Charles Pascal», — «Revue des études slaves», t 54, fascicule 1-2 («Mélanges Pierre Pascal»), Paris, 1982, pp. 11-17.

3. В неопубликованной диссертации Режиса Ладу "Господин Порталь и его окружение" собраны чрезвычайно ценные документы, освещающие группу аббата Порталья и ее влияние на Паскаля с 1910 (диссертация защищена в Лионском университете).

4. Выдержка из интервью Пьера Паскаля Жоржу Нива (1969, неопубликовано).

5. Christian Jelen, «L'aveuglement. Les socialistes et la naissance du mythe soviétique». Paris, 1984, pp. 239-247

6. Fred Kupferman, «Au pays des Soviets. Le voyage français en Union soviétique, 1917-1939». Paris, 1984, pp. 36-40

7. В Париже было открыто судебное следствие против Садуля и Паскаля. Садуль, вернувшийся в 1925, был оправдан. Генерал Гуро, военный губернатор Парижа, закрыл "дело Паскаля" принимая во внимание, что между Францией и СССР никогда не было состояния объявленной войны.

8. Marcel Body, «Un piano en bouleau de Carélie» (Пианино из карельской березы). В частной беседе Боди уточнил, что на вопрос Суварина "Как поступить с документом?", Паскаль ответил "Как вам угодно", слова же эти были написаны на почтовых карточках, отправленных в открытую, но прятались под марками.

9. В грозных сигналах недостаток не было арест Виктора Сержа, затем арест родителей Жинни и ее сестры Аииты.

ЭМИГРАЦИЯ

Борис Шрагин

ПОХВАЛА ПОЛЕМИКЕ

“Основная жизнь журнала всегда в критике и полемике” — писал Юрий Тынянов И приводил пример “Читатель 20-х годов (прошлого, очевидно, столетия — Б.Ш) брался за журнал с острым любопытством что ответит Вяземскому Каченовский и как поразит острый А Бестужев чопорного П Катенина? Беллетристика разумелась сама собой, — но главная соль журнала была в критических драках”

— “Драки”? “Соль журнала”? “Пристало ли солидным и благовоспитанным людям, какими надлежит быть литераторам, вдруг — драться?”

— Успокойтесь!

Тынянов в унынии наблюдал, как умирала полемика от удушья еще лет пятьдесят назад Нам не довелось увидеть даже камня на ее могиле Последний ее отчаянный выкрик — “Четвертая проза” Осипа Манделштама, произведение не солидное и не благовоспитанное “Книги тают, как ледашки, принесенные в комнату Все уменьшается Все тает И Гете тает. Небольшой нам остался срок Холодит ладонь ускользающий эфес бескровной ломкой шпаги, отбитой в гололедицу у водосточной трубы” Шпага — это полемика; водосточная труба — это то, обо что ее обломили

Когда Тынянов писал приведенные выше строки, литературная борьба еще кипела Изобильные группировки множлись, сталкивались, каждая настаивала на своей правоте Ритм духовного развития, хоть и замедляясь, все еще сохранял стре-

мительность. Направления вытесняли одно другое. Философы, поэты, художники, даже коммунистические политики куда-то двигались, чего-то искали, подчеркивая не только свое несогласие с другими и свою правоту, но и то, что все существующие готовые ответы неудовлетворительны. Поэтому для нас, потомков, культура 20-х годов пестра, красочна, множественна.

Правда, уже тогда проскальзывали в полемике мертвящие интонации, недозволенные приемы. Полемистам было порою невтерпеж настоять на своем, а потому то жестом, то прямым словесным указанием они призывали в арбитры начальство. Утрачивалась уверенность в силе слова; росла вера в слово силы. Обличение политической нелояльности противника нарушило строгие, добропорядочные нормы полемической дуэли. Ждали, что придет высокопоставленный "дядя" и все рассудит.

В памятном 1934 году "дядя", наконец, устал разбираться в ворохах литературных, философских и политических наветов. Он одним махом распустил все группировки, а на их месте образовал единый союз писателей, а затем другие такие же единые "творческие" союзы. Тогда стало нормой признавать, что "попутчиков" больше нет, нет "пролетарских", "крестьянских" и "мещанских", а все — хорошие, "свои", "советские".

Недальновидные вздохнули с облегчением. Шум полемических битв сразу затих. Различия программ, платформ и личных привязанностей потеряли смысл. Норма была дана наперед, а потому и полемика потеряла смысл. Мнения могли расходиться лишь по поводу т о л к о в а н и я одной и той же истины. Уже не могло быть частично правых и частично неправых, а только правые и виноватые.

Наступившее замирение было зловеще. Приняв должность третейского судьи, "дядя" наглед. Дискуссии разыгрывались бы теперь на глазах свирепого зверя. Каждый спорщик должен был приготовиться не только подставить лоб под дуло пистолета, но и стать предварительно на край пропасти. Примирительное определение "попутчик" сменилось лютым "враг народа".

Впоследствии, когда амок смерти миновал, оглядываясь назад, некоторые объявили, будто во всем повинны строптивые 20-е годы. Но нет ничего дальше от правды. "Врагов народа" стало возможно изолировать и истреблять только после того, как все остальные были признаны одинаковыми и равными "друзьями народа".

Головы от природы разные, а потому и думают, и чувствуют они разное. Если настаивать на одинаковости, то в конце концов приходится ликвидировать конечную причину разногласий, резать головы — с сухим треском, как кочаны капусты. Об этом писал еще Гегель, анализируя террор якобинцев.

Террор был данью, которую пришлось платить за утрату вкуса к полемике.

Вот суждение Владимира Соловьева, — не только великого религиозного философа, но и завзятого, вездливого, саркастического и неизменно победоносного полемиста: "Полемика есть, без сомнения, самый неприятный способ выяснения истины .. Но когда речь идет не о теоретических идеях, а о вопросах жизненных, решение которых в том или ином смысле имеет прямые практические последствия для множества живых людей, когда торжество или поражение известного взгляда связано с благополучием или бедствием наших ближних, тогда философское беспристрастие и невозмутимость были бы совершенно неуместны. Тут уже вступают в свои права и моральное негодование и религиозная ревность; тут уже недостаточно одного изложения истины, а необходимо и беспощадное обличение неправды"

Тотальное отсутствие свободы лишило достоинства человеческую личность, а вместе с нею — и самовыражение личности, ее мнения и идеи, ее жизненные и философские убеждения, ее высказывания в печати. Мы напрочь разуверились в том, что печатное слово способно хоть что-либо переменить или определить. Мы приучены, прочтя самые прожигающие слова, назавтра влачить все то же существование, полностью отдавая себе отчет в его недостоинстве. Литература и жизнь, литература и будущее — наше собственное, наших близких, нашей страны, всех людей — уложены в нашем сознании на разных полочках. Еще до того, как усесться за письменный стол, наш автор уверен, что от его писаний ничего не изменится. А потому и горячиться не стоит.

— Худой мир лучше доброй ссоры. Пойдем, старик, выпьем!

Наш автор не станет горячиться, не примется обличать неправду не только потому, что не знает правды, но и потому, что не верит в ее существование.

Полемика задушена нашим безразличием

Безразличие, а не страх перед КГБ, объясняет, почему в СССР так мало диссидентов; оно же привело советских людей в Чехословакию и Афганистан; оно же, разными путями, выбросило нас на берега Нового Света. Все это — сцепленный ряд последствий, одним из которых явилось превращение нашей литературы, почти сплошь, в имитацию.

Писатель пописывает, читатель почитывает. — К чему пишет писатель? По привычке? Ради самоутверждения? Для славы? Чтобы заработать? — К чему читает читатель? Чтобы убить время? Чтобы культурно провести досуг? Чтобы иметь предмет для разговора со знакомыми: что-то похвалить, что-то поругать, с чем-то согласиться, а чему-то высказать осуждение?

Я бы напомнил слова Михаила Гершензона, который обвинил когда-то русскую интеллигенцию в "праздном обжорстве истиной". Но где же они, наши истины?

Книги, статьи тают, как ледяшки, принесенные в комнату. Потом лужицы высыхают и не остается следов.

История, культура — это не только преемственность, но и ошибки, разрывы, не только рождение идей и течений, но и их падение, гибель, — причем, насильственные.

Явился некогда Аристотель и сказал про своего учителя: "Платон мне друг, но истина дороже". Так загорелась полемика, которая оживотворила мысль не только поздней античности, но и средневековья, и Ренессанса. Спиноза вышел из картезианства, но сказал свое новое великое слово только потому, что боролся с ним. Гений Пушкина оттачивался в полемике с архаистами. Поэзия Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака выросла из журнальных сражений акмеистов с символистами, а футуристов — с теми и другими.

А из нас каждый предпочел бы дружбу с Платоном истине. Но давайте не будем заблуждаться: это — не добродушие, а все то же равнодушие.

Усилия редакторов направлены на то, чтобы как-нибудь невзначай не предстать пред читателями как пристрастные представители какого-нибудь определенного направления. Тем же заняты и авторы. Даже когда начинает прорезываться свой взгляд на вещи, который приходит в конфликт с другими, это считают нужным смазывать и скрывать, как неприличие. А в итоге получается некая вселенская смазь. Только кажется, будто у нас есть газеты и журналы. На самом же деле — это не

газеты и журналы, а какие-то бессистемные антологии случайно подобранных материалов Никто друг друга не слушает Публикации не рожают отклика, — разве что пустые похвалы по принципу "рука руку моет". Печатное слово застаивается и сгнивает, не сцепляясь в процесс, в столкновение противоречий, в динамику идей и направлений

Казалось бы, нам ли не знать, к чему приводит однопартийность Однопартийность душит свободу, но, кроме того, сопровождается застоєм и пыточной скукой. Чтобы впустить свежий воздух, чтобы хоть куда-то двинуться, нужны, по крайней мере, две партии Это верно не только в политике, но и в литературе, в искусстве — где угодно Свобода предполагает выбор, а выбор возможен только тогда, когда перед нами есть разные возможности, резко очерченные, разработанные и продуманные в диалоге, то есть в полемике

Но где же наши партии, где направления? Откуда мы вышли и, главное, куда собираемся идти? — Мы не идем. Мы стоим

Обжегшись на партийности, мы во что бы то ни стало намерены остаться беспартийными Однако, как нам же хорошо известно, однопартийность на самом-то деле подразумевает "блок партийных с беспартийными" или, говоря иначе, "блок активных с равнодушными". Беспартийность — это всего лишь иная — и необходимая — сторона однопартийности Мы силится избавиться от последствия, но цепляемся за предпосылку с таким упорством, будто нас хотят кастрировать.

Да, полемика — это неприятный способ выяснения истины Но разве вполне приятна какая бы то ни было борьба? В борьбе всегда есть риск получить фонарь под глазом. Но откуда же мы взялись — такие гедонисты, что откажемся от чего угодно, лишь бы не наживать неприятностей?

Сейчас мы напуганы так называемой "склокой" в эмиграции И тотчас нашлись добряки, которые бросились всех мирить По неопытности и по полному незнанию, что это такое, они приняли робкие еще зачатки полемики в нашей среде за "склоку" На самом же деле только должный полемический накал нашей литературы способен предотвратить хулиганские выходы и столь же злобную, сколь и вздорную ругань в печати. Эти выходы и ругань разоблачают полное нежелание и неумение вести полемику Ими хотят зажать рот инакомыслящему еще до того, как он успеет его открыть

Андрей Синявский

ДИССИДЕНТСТВО КАК ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мой опыт диссидентства сугубо индивидуален, хотя как всякий личный опыт он отражает в какой-то мере более широкие и общие, разветвленные процессы, а не только мой жизненный путь. Я никогда не принадлежал к какому-либо движению или диссидентскому содружеству. Инакомыслие мое проявлялось не в общественной деятельности, а исключительно в писательстве. Притом в писательстве на первых порах тайном и по стилю закрытом, темном для широкой публики, не рассчитанном ни на какой общественно-политический резонанс.

Первый период моего писательского диссидентства охватывает примерно десять лет (с 55-го года и до моего ареста). Тогда я тайными каналами переправлял за границу рукописи и, скрывая свое имя, печатался на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Меня разыскивали как преступника, я знал об этом и понимал, что рано или поздно меня схватят, согласно пословице "сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать". В результате само писательство приобретало характер довольно острого детективного сюжета, хотя детективы я не пишу и не люблю и как человек совсем не склонен к авантюрам. Просто я не видел иного выхода для своей литературной работы, чем этот скользкий путь, предосудительный в глазах государства и сопряженный с опасной игрой, когда на карту приходится ставить свою жизненную судьбу, свои человеческие интересы и привязанности. Тут уж ничего не поделаешь. Надо выбирать —

в самом себе — между человеком и писателем. Тем более опыт писательских судеб в Советском Союзе дает понимание, что литература это рискованный и подчас гибельный путь, а писатель, совмещающий литературу с жизненным благополучием, очень часто в советских условиях перестает быть настоящим писателем

С самого начала литературной работы у меня появилось, независимо от собственной воли, своего рода раздвоение личности, которое и до сих пор продолжается. Это — раздвоение между авторским лицом Абрама Терца и моей человеческой натурой (а также научно-академическим обликом) Андрея Синявского. Как человек я склонен к спокойной, мирной, кабинетной жизни и вполне ординарен. Соответственно, и люди чаще всего ко мне, как к человеку, доброжелательно относятся. То же можно сказать о моей научно-исследовательской или преподавательской работе, которой я и в те годы занимался параллельно писательству, и сейчас продолжаю заниматься. Хотя у меня и случались по этой части различные неудобства в жизни (в связи с тем, например, что я занимался одно время поэзией Пастернака), но это, в общем, пустяки. В целом моя научная и литературно-критическая карьера складывалась довольно удачно. И я был бы, наверное, до сего дня вполне благополучным сотрудником советской Академии наук и преуспевающим литературным критиком либерального направления, если бы не мой темный писательский двойник по имени Абрам Терц. Этот персонаж, в отличие от Андрея Синявского, склонен идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги, что и навлекло на него и, соответственно, на мою голову массу неприятностей. Мне представляется, однако, что это "раздвоение личности" не вопрос моей индивидуальной психологии, а скорее проблема художественного стиля, которого придерживается Абрам Терц, — стиля ироничного, утрированного, с фантазиями и гротеском. Писать так, как принято или как велено, мне просто не интересно. Если бы мне, допустим, предложили описывать обычную жизнь в обычной реалистической манере, я вообще отказался бы от писательства. И поскольку политика и социальное устройство общества это не моя специальность, то можно сказать в виде шутки, что у меня с советской властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц — это диссидент главным образом по своему

стилистическому признаку Но диссидент наглый, несправильный, возбуждающий негодование и отвращение в консервативном и конформистском обществе.

Здесь уместно немного отвлечься и напомнить, что всякая настоящая литература в новой истории это чаще всего отступление от правил "хорошего тона". Литература по своей природе это инакомыслие (в широком смысле слова) по отношению к господствующей точке зрения на вещи. Всякий писатель это инакомыслящий элемент в обществе людей, которые думают одинаково или, во всяком случае, согласованно. Всякий писатель — это отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и пишет вопреки мнению большинства. Хотя бы вопреки устоявшемуся стилю и сложившемуся уже, апробированному направлению в литературе

Может быть, писателя, в принципе, надо убивать. Уже за одно то, что пока все люди живут как люди, он — *пишет*. Само писательство это инакомыслие по отношению к жизни. В России один из тюремщиков мне как-то признался в интимную минуту. — Всех писателей без исключения, независимо от их величины — Шекспира, Толстого, Достоевского, — я бы поместил в один большой сумасшедший дом. Потому что писатели только мешают нормальному развитию жизни". И я думаю, этот человек по-своему где-то прав. В том смысле прав, что писатель самым фактом своего существования вносит какое-то беспокойство в общество. В особенности это касается стандартизованного общества, которое живет и мыслит по государственным предписаниям. Писатель в таком обществе — преступник. Преступник более опасный, чем вор или убийца. Мне говорили в тюрьме по поводу моих сочинений. "лучше бы ты человека убил!" Хотя в этих сочинениях я не писал ничего ужасного и не призывал к свержению советской власти. Достаточно уже одного того, что ты как-то по-другому мыслишь и по-другому, по-своему ставишь слова, вступая в противоречие с общегосударственным стилем, с казенной фразой, которая всем управляет. Для таких авторов, так же как для диссидентов вообще, в Советском Союзе существует специальный юридический термин: "особо опасные государственные преступники". Лично я принадлежал к этой категории. И надеюсь до конца дней остаться в глазах советского общества "особо опасным государственным преступником"...

Между тем, я не был с самого начала таким плохим человеком. Мое детство и отрочество, которые падают на 30-е годы, протекали в здоровой советской атмосфере, в нормальной советской семье. Отец мой, правда, не был большевиком, а был в прошлом левым эсером. Порвав с дворянской средой, он ушел в революцию еще в 1909 году. Но к власти большевиков, сколько она его ни преследовала за прежнюю революционную деятельность, он относился в высшей степени лояльно. И, соответственно, я воспитывался в лучших традициях русской революции или, точнее сказать, в традициях революционного идеализма, о чем, кстати, сейчас несколько не сожалею. Не сожалею потому, что в детстве перенял от отца представление о том, что нельзя жить узкими, эгоистическими, "буржуазными" интересами, а необходимо иметь какой-то "высший смысл" в жизни. Впоследствии таким "высшим смыслом" для меня стало искусство. Но в 15 лет, накануне войны, я был истовым коммунистом-марксистом, для которого нет ничего прекраснее мировой революции и будущего всемирного, общечеловеческого братства.

Хочу попутно отметить, что это довольно типичный случай для биографии советского диссидента вообще (доколе мы говорим о диссидентстве как о конкретном историческом явлении). Диссиденты в своем прошлом это чаще всего очень идейные советские люди, то есть люди с высокими убеждениями, с принципами, с революционными идеалами. В целом, диссиденты это порождение самого советского общества послесталинской поры, а не какие-то чужеродные в этом обществе элементы и не остатки какой-то старой, разбитой оппозиции. На всем протяжении советской истории существовали противники советской власти, люди ею недовольные или от нее пострадавшие, ее критикующие, которых тем не менее невозможно причислить к диссидентам. Мы также не можем назвать диссидентами, например, Пастернака, Мандельштама или Ахматову, хотя они были еретиками в советской литературе. Своим инакомыслием они предварили диссидентство, они помогли и помогают этому позднему процессу. Но диссидентами их назвать нельзя по той простой причине, что своими корнями они связаны с прошлым, с дореволюционными традициями русской культуры. А диссиденты это явление принципиально новое и возникшее непосредственно на почве советской действительности.

сти. Это люди, выросшие в советском обществе, это дети советской системы, пришедшие в противоречие с идеологией и психологией отцов. И этим, мне кажется, отчасти объясняется интерес современного Запада к проблемам советского диссидентства. Ибо диссиденты это взгляд на советское общество изнутри его самого. Их нельзя обвинить в чужеклассовом происхождении или в том, что они не принимают революции как люди от нее потерпевшие. И это не политическая оппозиция, которая борется за власть. Характерно, что политический акцент в диссидентстве вообще притушен и на первый план выдвигаются интеллектуальные и нравственные задачи. Этим, в частности, они заметно отличаются от русских революционеров прошлого. И если производят какую-то, условно назовем, "революцию", то — в виде переоценки ценностей, с которой и начинается диссидентство. У каждого диссидента этот процесс переоценки ценностей происходит индивидуально, под воздействием тех или иных жизненных противоречий. У каждого нашелся свой камень преткновения. Для очень многих диссидентов, мы знаем, таким камнем преткновения был XX съезд партии в 56-м году. Не потому, что только тогда у них открылись глаза на колоссальные преступления прошлого. А потому, что, раскрыв какую-то часть этих преступлений, XX съезд и вся последующая советская идеология не дали и не могут дать этому никакого, скольконибудь серьезного, исторического объяснения. И хотя режим относительно смягчился после Сталина, это не привело к либерализации и демократизации государственной системы как таковой, что послужило бы хоть какой-то гарантией человеческих прав и человеческой свободы. В итоге XX съезда советским людям было просто предложено, как встарь, во всем доверяться партии и государству. Но эта вера слишком уже дорого стоила в недавнем прошлом и чересчур далеко завела. И вот у диссидентов партийная или детская вера в справедливость коммунизма уступает место индивидуальному разуму и голосу собственной совести. Поэтому диссидентство это прежде всего, на мой взгляд, движение интеллектуальное, это процесс самостоятельного и бесстрашного думания. И вместе с тем эти интеллектуальные или духовные запросы связаны с чувством моральной ответственности, которая лежит на человеке и заставляет его независимо мыслить, говорить и писать, без оглядки на стандарты и подсказки государства.

Лично у меня этот "общедиссидентский" процесс протекал несколько по-иному. Временем переоценки ценностей и формирования моих индивидуальных взглядов была эпоха второй половины 40-х и начала 50-х годов. Эта эпоха позднего, зрелого и цветущего сталинизма совпала с моей студенческой юностью, когда, после войны, я начал учиться на филологическом факультете Московского университета. А главным камнем преткновения, который привел к обвалу революционных идеалов, послужили проблемы литературы и искусства, которые с особой остротой встали в этот период. Ведь как раз тогда проводились ужасающие чистки в области советской культуры. На мою беду, в искусстве я любил модернизм и все, что тогда подвергалось истреблению. Эти чистки я воспринял как гибель культуры и всякой оригинальной мысли в России. Во внутреннем споре между политикой и искусством я выбрал искусство и отверг политику. А вместе с тем стал присматриваться вообще к природе советского государства — в свете произведенных им опустошений в жизни и в культуре. В результате смерть Сталина я уже встретил с восторгом... И потому, начав писать "что-то свое, художественное", заранее понимал, что этому нет и не может быть места в советской литературе. И никогда не пытался и не мечтал это напечатать в своей стране, и рукописи с самого начала пересылал за границу. Это было просто выпадением из существующей литературной системы и литературной среды. Пересылка же произведений на Запад служила наилучшим способом "сохранить текст", а не являлась политической акцией или формой протеста.

Поэтому, когда меня арестовали и когда начался второй период моей писательской жизни, я не признал себя виновным в политических преступлениях. Это было естественным поведением, а не какой-то хитростью с моей стороны. Вообще, человек, попав в тюрьму, должен вести себя естественно, и только это помогает. Писателю, в частности, естественно утверждать, что литература неподсудна и не является политической агитацией и пропагандой, как это утверждает советское правительство, ведущее, кстати говоря, свободно и неподсудно политическую агитацию на Западе. . Таким образом мне и моему другу Юлию Даниэлю удалось остаться на позиции "не признания себя виновными", вопреки давлению суда и органов госбезопасности. Это довольно тяжелое давление, связанное с твоей

жизнью и жизнью твоей семьи. И наше "непризнание" сыграло определенную роль в развитии диссидентского или, как его называют, демократического движения, хотя мы прямо с этим движением никак не были связаны, а действовали в одиночку. Дело в том, что раньше на всех публичных политических процессах в Советском Союзе "преступники" (в кавычках и без кавычек) признавали себя виновными, и калялись, и публично унижались перед советским судом. На этом и строилось советское политическое правосудие. Конечно, и раньше находились люди, не раскаявшиеся и не признавшие себя виновными. Но об этом никто не знал. Они погибли в неизвестности. А внешне все обстояло гладко "враги народа" сами признавали себя "врагами народа" и просили, чтобы их расстреляли или, еще лучше, чтобы их не расстреливали, потому что они исправятся и, искупив свою вину перед Родиной, станут хорошими, честными советскими людьми. Со стороны властей это было приведением родины к единому знаменателю, к "морально-политическому единству советского народа и партии". Нам, диссидентам, удалось эту традицию нарушить. Нам повезло остаться самими собою, вне советского "единства". И в нашем с Юлием Даниэлем судебном эпизоде произошло так, что это получило огласку и поддержку в стране и на Западе, в виде "общественного мнения". Все это случилось помимо нашей воли. Находясь в тюрьме и стоя перед судом, мы не предполагали, что вокруг нашего процесса начнется какой-то другой процесс. Мы были изолированы и не могли думать, что это вызовет какие-то "протесты" в стране и за рубежом и поведет к какой-то цепной реакции. Мы просто были писателями и стояли на своем.

Здесь опять-таки уместно вспомнить, что "диссидент" (я беру это понятие сейчас в самом общем и широком выражении) это не только человек, который мыслит несогласно с государством и имеет смелость высказывать свои мысли. Это также человек, который не сломался под давлением государства и не признал себя виновным. Разумеется, это дело личного выбора и никто никому не должен навязывать "нормы поведения" перед советским судом. Это проблема каждого, в отдельности, человека. Но понятие "диссидент" предполагает известного рода нравственное сопротивление или силу совести, что не позволяет ему раскаяться и превратиться в обычного советского человека, который всю жизнь говорит под диктовку госу-

дарства Вот почему в последние годы на судах и под следствием в Советском Союзе происходит строгий отбор Одни не раскаиваются в своих словах и поступках и потому идут в лагерь и остаются диссидентами Другие, раскаявшись в диссидентстве, отказавшись от себя, выходят на волю и вновь становятся "честными советскими людьми" Проверка "диссидента" — тюрьма

Теперь я обращусь к третьему и последнему периоду моего диссидентского опыта, который относится к эмиграции, к сегодняшнему дню На этом материале я хочу несколько задержаться, поскольку он особенно сложен и, на мой взгляд, драматичен При этом я почти не буду касаться собственно Запада Меня интересует в данном случае диссидентско-эмигрантская среда и печать, в которую мне довелось окунуться достаточно глубоко и вынести оттуда весьма неутешительный личный опыт

То, что в самое последнее время происходит с диссидентами, приехавшими на Запад, я бы обозначил понятием "диссидентский НЭП". Это понятие я употребляю не как научный термин, а скорее как образ по аналогии с тем колоритным периодом советской истории, который начался в 20-е годы, после гражданской войны, и продолжался лет пять или семь. Тогда власть предоставила стране так называемую экономическую "передышку" с целью наладить разрушенное войной и революцией хозяйство. Как известно, это сравнительно мирный и благополучный период, позволивший народу вздохнуть относительно свободнее и немного откормиться. Вместе с тем это время разгрома всяческих оппозиций и создания мощной сталинской консолидации, время перерождения революции как бы в собственную противоположность, в консервативное, мещанско-бюрократическое устройство. Достоин удивления факт, что в годы НЭП'а многие герои революции и гражданской войны проявили себя как трусы, приспособленцы, покорные исполнители новой государственности, как обыватели и конформисты. Значит ли это, что они в недавнем прошлом не были подлинными героями? Нет, безусловно они были героями, они шли на смерть и ничего не боялись Но изменился исторический климат, и они попали как будто в другую среду, требующую от человека других качеств, а вместе с тем — как будто в *свою* среду победившей революции И вот вчерашние герои, если не

погибают, то превращаются в заурядных чиновников

Теперь переведем некоторые черты НЭП'а на наш диссидентский опыт. Попад на Запад, мы оказались не только в ином обществе, но в ином историческом климате, в ином периоде своего развития. Это мирный и сравнительно благополучный период в нашей собственной истории. Нам приходится выдерживать испытание – благополучием. А также испытание – демократией и свободой, о которых мы так мечтали. В диссидентском плане нам ничто не угрожает, кроме собственного перерождения. Ведь быть диссидентом на Западе (диссидентом по отношению к советской системе) очень легко. То, что в Советском Союзе нам угрожало тюрьмой, здесь, при известном старании, сулит нам престиж и материальный достаток. Только само понятие "диссидент" здесь как-то обесцвечивается и теряет свой героический, свой романтический, свой нравственный ореол. Мы ничему, в сущности, не прогивостоим и ничем не рискуем, а как будто машем кулаками в воздухе, думая, что ведем борьбу за права человека. Разумеется, при этом мы искренне желаем помочь и порою действительно помогаем тем, кого преследуют в Советском Союзе и это надо делать, и надо помнить о тех, кто там находится в тюрьме. Только с нашей-то стороны (и об этом тоже стоит помнить) все это уже никакая не борьба, не жертва и не подвиг, а скорее благотворительность, филантропия. И даже – заработок, средство собственного прокормления, а иногда, к сожалению, и доходное предприятие. Вот это последнее обстоятельство вносит порою не совсем благородный привкус в диссидентское дело на Западе.

Конечно, всякому человеку нужны деньги, и если у диссидента нет другой специальности, ему приходится зарабатывать на жизнь этим проторенным путем. Нужны также деньги, чтобы издавать книги, журналы, собирать конференции и т. д. И все это вещи полезные и совершенно необходимые в России, и Западу. Однако деньги, как это известно во все времена, не только дают возможность творить добро или позволяют жить независимо, но, случается, развращают и даже закабаляют. И диссиденты поддаются этому общечеловеческому закону.

Я не называю никаких имен, потому что дело не в именах, а в тенденциях. А тенденция состоит, к сожалению, в том, что бываю случаи, когда диссидент, оказавшись на Западе, теряет главное свое преимущество – независимость и смелость.

мысли и идет в услужение какой-то диссидентско-эмигрантской корпорации или какому-то диссидентскому боссу-идеологу. И говорит уже не то, что думает, а то, что от него требуется. И свое приспособление мотивирует словами "А здесь иначе не проживешь!" Причем это говорит человек, который вчера еще рисковал жизнью за свои убеждения. Что же получается? В Советском Союзе, в тюрьме, он был внутренне свободным человеком и мог жить по-своему, по-другому, чем большинство, не поддаваясь никакому давлению и никакому подкупу? А здесь, в ситуации свободы, он приспосабливается к обстановке, потому что, вдруг выясняется, "здесь иначе не проживешь"? Свобода, выходит, для него, для диссидента, психологически опаснее, чем тюрьма? Дайте нам свободу, и мы станем — рабами? Или прав Великий Инквизитор Достоевского, сказавший, что люди не любят свободы и ее боятся, а ищут какую-то опору в жизни, в виде хлеба, авторитета и чуда? Люди ищут перед кем бы преклониться и "чтобы непременно *все вместе*", ищут "общности преклонения" перед каким-то авторитетом, которому они и отдают свою свободу... Однако мы здесь занимаемся не проблемами человеческой истории и психологии вообще, а конкретным явлением — диссидентства. Так вот применительно к диссидентам на Западе главная опасность приспособленчества или конформизма состоит, мне кажется, в потребности общего, непременно общего, совместного преклонения перед кем-то или перед кем-то.

Здесь следует учитывать специфику эмигрантской жизни. Ведь приезжая на Запад, мы оказываемся очень одинокими и страдаем от своего одиночества. И это особенно касается русских людей, которые привыкли к более тесному дружескому общению, чем это мы наблюдаем в западном образе жизни. Естественно, мы ищем *своих* людей, *свою* среду и таковую находим в виде диссидентско-эмигрантского сообщества. И легко идем на уступки этой среде и ее авторитетам, поскольку боимся ее пограть, а выбор весьма и весьма ограничен. Единомыслие, которое возникает в этой среде, узость этой среды и ее замкнутость, а порою ее консервативность и подчиненность одному авторитетному лицу, иногда даже материальная зависимость от этого лица и от этой среды, — все это и создает благоприятную почву для развития конформизма. При этом мы сами не всегда замечаем, как из диссидентов мы становимся кон-

формистами. Ведь мы не совершаем предательства, не переходим из одного лагеря в другой лагерь. Мы только слегка приспособляемся. Но точно так же не замечали своего перерождения герои революции в период НЭП'а. Ведь они не изменяли идеалам коммунизма. А только из революционеров становились послушными партийными функционерами. Вот почему я боюсь, что мы в эмиграции, под теплым крылом демократического Запада, сами того не желая и не сознавая, воспроизводим в миниатюре прообраз советской власти. Только с другим, антисоветским знаком. Да еще существенное различие у нас нет своей полиции и нет своих тюрем. Но своя цензура уже есть. И свои доносчики тоже уже есть. Только опять-таки западная полиция почему-то не принимает наши доносы. Ах, да, мы забыли — ведь здесь же — демократия!

Для стороннего зрителя, который интересуется нашими проблемами, не всегда понятно, о чем и почему так горячо спорят между собою советские диссиденты, выехавшие на Запад. И почему у нас нет единства взглядов, ведь все же мы — диссиденты. Лично я считаю, что у нас единства больше, чем достаточно. Даже с излишком, в ущерб нашему диссидентству. Ведь диссиденты по своей природе это не какая-то политическая партия и даже не идеология. Отказ от советской идеологии предполагает не только инакомыслие по отношению к *этой* идеологии, но также разномыслие внутри инакомыслия. Если мы еретики, то ересей должно быть много. И в этом, мне представляется, ценность диссидентства, которое в идеале это не зачаток новой церкви или нового, единого антисоветского государства, но плюралистическое общество, хотя бы на бумаге. Я говорил уже, что советские диссиденты по своей природе это интеллектуальное, духовное и нравственное сопротивление. Спрашивается теперь — сопротивление — чему? Не просто ведь советскому строю вообще. Но — сопротивление унификации мысли и ее омертвлению в советском обществе. И если мы хотим, чтобы вольная русская мысль, вольное русское слово и культура развивались, нам необходимо разномыслие. Это важнейшее условие развития русской культуры. Почему на Западе возможно разномыслие, а у нас, у диссидентов, не может быть и не должно быть разномыслия? Мы такие же, между прочим, люди. С зачатками разума, правосознания.

Помимо того, в диссидентском движении (в особенно-

сти на эмигрантской почве) в последнее время происходит очевидный раскол. Это раскол на два крыла или направления, которые условно можно обозначить как "авторитарно-националистическое" крыло, во-первых, и "либерально-демократическое", во-вторых. По природе своей диссидентство либерально и демократично, и с этого оно начиналось. И потому были и остаются синонимы. "советские диссиденты" – или "демократическое движение". "Национально-авторитарное" крыло выявилось позднее и вступило в противоречие, как мне кажется, с основными посылками диссидентства. Понятно, в результате и в процессе этого раскола, который еще не закончился, вспыхивают сейчас серьезные и принципиальные разногласия. Они-то и составляют основу наших споров.

Сам я принадлежу к либерально-демократическому крылу. Не потому, что я верю в скорую победу свободы и демократии в России. Напротив, в такую победу я совсем не верю. Во всяком случае, я не вижу такой перспективы в ближайшем, обозримом будущем. Но в условиях советского деспотизма русскому интеллигенту подобает, на мой взгляд, быть либералом и демократом, а не предлагать какой-то иной вариант нового деспотизма. Пускай, допустим, у демократии как социально-государственного устройства нет никакого будущего в России. Все равно наше призвание оставаться сторонниками свободы. Ибо "свобода", как и некоторые другие "бесполезные" категории – например, искусство, добро, человеческая мысль, – самоценна и не зависит от исторической или политической конъюнктуры.

Вот почему я не могу согласиться с теми диссидентами, которые предлагают сменить коммунистический деспотизм другой разновидностью деспотизма – под национально-религиозным флагом, пускай, может быть, подобные перемены исторически осуществимы. И хотя сам я принадлежу к православному вероисповеданию и очень люблю древне-русскую культуру, а также многих писателей и мыслителей славянофильского круга, меня в современном русском национализме весьма настораживает и охлаждает идеализация государственных и социальных порядков России в ее прошлом. Я против смешения ценностей духовных и земных, религиозных и политических. Скажем, многие современные русофилы склонны упрекать Запад за формализованный образ жизни, за то, что

здесь господствуют юридические и рационалистические категории "закона" и "права", тогда как, дескать, России, изначально, присущи понятия христианской "любви" и "милости". И "милость" выше "закона". Да, согласен. Божественная милость и любовь выше и больше всех человеческих, установленных на земле, законов. Но в применении к государственному устройству мне эта теория представляется опасной и оскорбительной. Опасной — для человека, оскорбительной — для религии. Ведь деспотическим государством (при всех его религиозных склонностях) в действительности управляет не Бог, не Христос, а царь или вождь, который, к сожалению, нередко больше похож не на Бога, а на чорта, даже если это православный царь. Конечно, этот царь имеет возможность проявлять "милость" в обход "закона". Но сама эта "милость", для того чтобы проявиться, нуждается в невероятной, бесконтрольной, самодержавной власти. А такая власть на практике оборачивается не любовью и не милостью, а — казнями. Точнее говоря много-много казней и немножко милости. Так что уж лучше, на мой вкус, формализованный и рационалистический "закон", чем царская "милость".

Русские диссиденты, попав на Запад, подчас побаиваются здешней демократии. Им кажется, Запад вот-вот развалится под напором монолитной, тоталитарной системы Советского Союза. И предлагают Западу перестроиться на более авторитарных началах. Да и будущей России, соответственно, желают не демократии, а более прочной авторитарно-геоократической системы управления. В итоге люди, которых западная демократия, можно сказать, спасла от гибели, теперь, ею спасенные, хотели бы ее ограничить. Отсюда же нравоучительные и учительские сентенции Западу со стороны некоторой части советских диссидентов, которые этот Запад впервые видят и плохо знают.

Наверное, нам следует быть скромнее и, передавая Западу свой печальный опыт, остерегаться учить его, как жить и строить свое фундаментальное западное общество. Свое общество мы уже построили в образе коммунистического государства, от которого не знаем куда деваться. Новые русские националисты, правда, на это возражают, что все наши российские беды пришли с Запада. С Запада явился марксизм. С Запада пришел либерализм, подточивший самодержавно-патриархальные устои России. С Запада проникли инородцы (поляки, евреи, латыши,

венгры), которые и произвели Октябрьскую революцию Все это поиски "виновного" где-то на стороне Не мы виноваты, а кто-то чужой (Запад, мировой заговор, евреи) По существу это отчуждение собственных грехов и оплошностей Мы-то хорошие на самом деле, мы — чистые, мы — самые несчастные Потому что мы — русские. А это "чорт" вмешался в нашу историю

То, что я говорю здесь, это — кошуновство, с точки зрения националистов За подобные настроения русские националисты называют русских либералов (и меня, в частности) — *русофобами* Мы, дескать, так же как прогневший, либеральный, атеистический Запад, вкупе с коммунистами, ненавидим русский народ и Россию От этого обвинения трудно защититься Ведь не кричать же в голос, что ты любишь Россию? Смешно . По моим-то наблюдениям русофобов не так уж много на Западе. Подобного же типа "русофильская" позиция содержит неуважение к русскому народу Если Россию завоевала кучка инородцев, то какова же цена этой великой нации? И если России противопоказана демократия, то не значит ли, что сам народ, в такой трактовке, склонен к рабству? Кстати говоря, эта боязнь демократии применительно к русскому народу имела горькие прецеденты в нашей истории "Русские патриоты" так долго не решались отменять крепостное право в России — из опасения. как же дать свободу русскому мужику? — ведь без помещицкой опеки он сразу бросит работать и сопьется! .

Таковы наши споры в самых общих и утрированных чертах. Эти споры полезны для выявления разных точек зрения на вещи, но практически довольно утопичны. Советская власть весьма прочна и не сулит никакой свободы (в том числе — для создания православной теократии или автократии) А мы уже спорим нужна ли нам свобода? И стрелка компаса, как это давно повелось, склоняется в сторону деспотизма. Печальный знак.

Как это ни странно, в нашей среде на Западе бóльшим успехом и влиянием пользуется авторитарно-националистическое крыло, нежели демократическое Это связано с тем, что по самому психологическому складу авторитарное направление более партийно, дисциплинировано, прямолинейно, более повинуется авторитету "вождя", нежели демократы, которым, по природе, свойственны герпимость, плюрализм, разномыслие

Кроме того, основная масса старой эмиграции, составляющая большинство русской публики, или, так сказать, здешняя российская почва поддерживает национализм и сторонников авторитарной системы, в силу своей застарелой, еще монархической консервативности. Для старых эмигрантов дореволюционная Россия это непререкаемый идеал, к которому, по их представлениям, только и мечтает вернуться нынешняя народная Россия, оккупированная большевиками. Одна милая пожилая дама в Париже, узнав, что я недавно из Москвы, спросила, бывал ли я когда-нибудь в московских церквях и встречал ли там "наших" — "Каких наших?" — прошептал я испуганно. Она ответила: " — Белых!" На этом уровне понимания диссиденты-демократы, приезжающие на Запад, что-то вроде "советских боссов", специально засланных сюда большевиками, для того чтобы "разоружить" последний оплот Отечества.

Интересно, однако, что и западные круги порою склоняются в пользу русских националистов и авторитарников, хотя диссиденты-демократы им психологически ближе. Логика здесь такая: свобода и демократия хороши для Запада, а для России нужно что-нибудь попроще и пореакционнее. Как для дикарей. Задам чисто риторический вопрос: не потому ли демократическая Америка порою поддерживала в отсталых странах крайне реакционные, диктаторские, авторитарные режимы, надеясь таким способом уберечь эти страны от коммунистической заразы и на этой политике, случалось, проигрывала? Но меня занимает не американская политика, в которой я плохо разбираюсь, а русская культура. И вот эта разность интересов подчас нам мешает столкнуться и понять друг друга.

Сошлюсь, в виде иллюстрации, на частный разговор, который был у меня недавно с одним очень умным и тонким западным советологом. По своим убеждениям и вкусам он либерал и демократ, но политическую ставку делает на русский авторитаризм и национализм. Как человека культурного, его шокирует грубость этого направления, и, будь он русский, он никогда бы к нему не примкнул. Но оно ему представляется более перспективным и выгодным для Запада движением, нежели русские демократы. Я его спрашиваю: — А вы не боитесь, что в результате на смену советскому режиму или, скорее всего, в виде какого-то с ним альянса в России просто-напросто восторжествует откровенный фашизм? Оказалось, это его несколько

не смущает. В русском фашизме он видит реальную альтернативу советскому коммунизму и надеется, что русский фашизм, занявшись своими национальными делами, спасет Запад от коммунизма. Я не столь оптимистичен. Кроме того, на мой взгляд, от коммунизма Запад должен спасаться собственными силами, а не с помощью чьих-то фашизмов. Но главное различие состоит в том опять-таки, что для русской культуры нужна свобода, а для моего западного собеседника русская культура — дело третьестепенное и, вообще, необязательное. Ему важно спасти мир от катастрофы. За такие большие задачи, как спасение мира, лично я не берусь. У меня узкая специальность — писатель.

В заключение мне остается лишь подтвердить мое "диссидентство". Под обвалом ругани это нетрудно. В эмиграции я начал понимать, что я не только враг советской власти, но я вообще — враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально. Не то, чтобы я сперва был кому-то другом, а потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только — враг... Разумеется, Запад на эти "русские штучки" только радостно улыбается: экзотика. Ведь Запад не читает русскую прессу по ту и по другую сторону океана. А я — читаю. И вижу. И вот какой вывод: там, в Советском Союзе, я был "агентом империализма", здесь, в эмиграции, я — "агент Москвы". Между тем я не менял позиции, а говорил одно и то же: искусство выше действительности. Грозное возмездие настигает меня оттуда и отсюда. За одни и те же книги, за одни и те же высказывания, за один и тот же стиль. За одно и то же преступление.

Психологически это немного похоже на страшный сон во сне, который не может окончиться. Знаете, как бывает во сне: вроде бы проснулся, а это только еще худшее, еще более глубокое продолжение твоего сна. Куда ни кинься — ты враг народа. Нет, еще хуже, еще страшнее: ты — Дантес, который убил Пушкина. И Гоголя ты тоже — убил. Ты — ненавидишь культуру. Ты ненавидишь "все русское" (раньше, в первом сне, это звучало "ты ненавидишь все советское", а впрочем "все русское" я уже тогда тоже ненавидел). Ты ненавидишь собственную мать (уже покойную). Ты — антисемит. Ты — человеконенавистник. Ты — Иуда, который предал Христа в виде нового, коммунистического, национально-религиозного Возрождения в России. Сам-то я, в уме, думаю, что я, при всех недостатках, с

Христом, а не с Антихристом. Но мало ли что я думаю... Все это субъективно. Объективно же, то есть общественно, публично, я враг всему прекрасному на свете. И более того — всему доброму, всему человеческому... Хватаюсь за голову. Спрашиваю себя: как я мог дойти до таких степеней падения? А ведь был когда-то хороший мальчик. Как все люди. Но, видимо, общество лучше меня знает, кто я такой. После советского суда — пожалуйста — эмигрантский суд. И те же улики. Конечно, не посадят в лагерь. Но ведь лагерь это не самое страшное. Там даже хорошо, по сравнению с эмиграцией, где скажут, что ты вообще ни в каком лагере не сидел, а послан "по заданию" — разрушить русскую культуру...

Один вопрос меня сейчас занимает. Почему советский суд и антисоветский, эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в обвинениях мне, русскому диссиденту! Всего вероятнее, оба эти суда справедливы и потому похожи один на другой. Кому нужна свобода? Свобода — это опасность. Свобода это безответственность перед авторитарным коллективом. Бойтесь — свободы!

Но проснешься, наконец, утром после всех этих снов и криво усмехнешься самому себе: ты же этого хотел? Да, все правильно. Свобода! Писательство — это свобода.



НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «СИНТАКСИС»

В. СОРОКИН

ОЦЕРЕДЬ

РОМАН

Цена — 58 фр фр.



Израэль Шамир

ТРЕТЬЯ ВОЛНА ИЛИ УЛИСС И ЦИКЛОП

Кому — Третья, а для меня она всегда была единственной и казалась вовсе не волной, но прекрасным архипелагом в волнах Эгейского лукоморья, по которому так вольно носиться от Калипсо в Лондоне к Цирcee в Мюнхене. Когда, после нескольких лет ближневосточного житья с его хуммусом пополам с лотосом я с изумлением обнаружил, что русский язык поймал и держит меня в своей сфере тяготения, как ловил он и других инородцев от Олжаса до Булата, я стал наезжать на эти острова из своих палестин и находил живую знакомую речь и знакомые чувства. Так русский Париж и русский Нью-Йорк стали для меня знакомыми портами, а то и вторым домом, который так нужен, когда не хватает первого. Зарубежье Третьей волны стало для меня старой родиной, как Америка — для уехавших в Израиль американских евреев.

Поэтому у меня очень теплое отношение к жителям этой большой разбросанной по всем континентам деревни, которую называют Третья волна. Они меня привечали, утешали, кормили, поили, читали и печатали. Я их понимал, и они меня понимали, в отличие от давно уехавших русских эмигрантов с их совершенно иным жизненным опытом. Более серьезно, Виктор Некрасов выразил — в данном мне интервью — кардинальное отличие между Третьей волной и ее предшественницами рус-

ская словесность и мысль едины по обе стороны взлетной полосы Шереметьева, наша эмиграция и Россия взаимно обогащают друг друга в ходе единого литературного процесса, написанное эмигрантами читается в России, написанное в России читается в эмиграции. Для прежних эмиграций такой взаимосвязи не было.

Третья волна была связана с Россией настоящего, не только с Россией воспоминаний. Уже этим она отличалась от Первой эмиграции*, сказавшей себе "Снегом занесло/замело? Россию" и казавшейся моему поколению стадом зубров старого режима с буклями или там аксельбантами, реликтом, вроде старообрядцев. Для нас Россию снегом не заносило, мы оставались с ней в живой связи.

Одна из причин этого отличия в том, что Первая и Вторая эмиграция уходили из России с оружием в руках, побежденные, после того, как Красная Армия разбила Деникина и Власова. Третья волна уходила мирно, увязав вещички, пройдя через паспортно-таможенный контроль, "холодея яйцами", но избежав острой травмы войны и поражения.

Но была еще одна, более веская причина: наша волна получала постоянную свежую подкачку из России. Приезжавшие из Москвы и Тьмутаракани свежие эмигранты усугубляли это некрасовское ощущение нормального взаимообмена, создавали по крайней мере видимость обратной связи и нейтрализовали эмигрантскую склонность к изоляции. Ведь любой эмиграции нужна живая связь с метрополией, чтобы не исчезнуть или не выродиться, а поскольку паломничество в Москву исключалось, постоянный приезд новых эмигрантов был необходим эмиграции.

Когда подкачка прекратилась и на воротах России снова повис амбарный замок, прервалась и "дорога жизни", и мы очутились в одиночестве. Первый признак оторванности эмигрантской общины стал уже явным — усугубилась радикализация эмиграции и ее враждебность к Советской России. Не знаю, через сколько месяцев или лет и эта эмиграция согласится, что Россию замело снегом, но этот момент не за горами. Советская власть с ее завкадрами Пал Кузьмичом, с потертым паркетом полов парткома, ссущими во дворе солдатами, сбитой фураж-

* По мнению Зинаиды Шаховской в "Вестнике РХД", тем, что первая — была русская

кой милиционера и прочими атрибутами власти была слишком близка и знакома эмигрантам, чтоб ее можно было толком демонизировать. Но расстояние и время делают свое.

Яснее всего это заметно по процессу сближения Третьей волны со своими предшественницами. Когда-то они даже на языках говорили несхожих, а в последние годы меж ними пошла "мирная конвергенция", говоря языком советологов хрущевских времен. Когда эмигранты нашей волны приехали на Запад, их безумно смешили статьи подхорунжих или есаулов в "Русской мысли" и "Новом русском слове". А сейчас, стоит открыть "Вестник РХД" или "Голос Зарубежья" — и теряешься, к какой волне он относится. Судя по темам и языку — вроде бы к Первой, все монархисты-патриоты, радеющие за веру, царя и отечество, спорящие между собой, не грешил ли левизной Столыпин, клянущие продавшегося большевикам Милюкова. А судя по именам — почти все приехали после 1970 года, с еврейской волной, по израильским визам, "Голос Зарубежья" даже печатается в Израиле.

Диссидентское движение 60-х годов было достаточно плюралистичным, но православного монархизма в его закваске было мало. Не случайно в нем играли ключевую роль дети героев революции, вроде несчастного Петра Якира. Это было движение, обращенное в будущее, думавшее о том, куда пойдет дальше Советская Россия, стремившееся к большей демократии и гражданским свободам. "Социализм с человеческим лицом" не был тактическим лозунгом, как нас пытаются теперь уверить, и преследования подпольных марксистских кружков в России казались многим подтверждением тому, что они идут верным путем.

Эти же концепции привезли с собой эмигранты, но сменили их довольно скоро. В этом смысле интересен давний спор в эмигрантской печати о роли евреев, латышей и прочих инородцев в революции. Интересен не столько тем, что он свидетельствует о шовинизме и ксенофобии, сколько тем, что все спорщики — признающие и отрицающие эту роль — сходятся на безусловном осуждении революции. Ясно, что в России когда-то была совершена ошибка. Но в диссидентском движении большинство — и не только из тактических соображений — считало поворотным пунктом полную победу Сталина во второй половине 20-х или первой половине 30-х годов. Сейчас Третья

волна — как и Первая — датирует ошибку февралем 1917 года* Иными словами, вчерашние искатели социализма с человеческим лицом стали на позиции не то Корнилова, не то Каледина

Некоторое увлечение белой эмиграцией и белой армией бывало и в диссидентском движении, и там в свое время певали "Раздайте патроны, поручик Голицын", но в этом было много стилизации, и рядом, и в то же время и те же люди могли спеть "Я все равно паду на той, на той далекой, на Гражданской" И только с годами началось серьезное вживание наших эмигрантов в роль нового поколения Первой эмиграции. Теперь все чаще, на попойках в Париже и Нью Йорке идет речь об иконах, постах и великих князьях, и так и ждешь, что тебя тронут за плечо и спросят "А вы, поручик, где служили?" К сожалению, за это развлечение приходится платить отказом от влияния — такая эмиграция не может повлиять на Россию, да и Россия не может повлиять на нее

Происходит и "мирная конвергенция" Третьей волны со Второй Не желая обобщать, скажем мягко — со Второй волной прибыли и коллаборационисты. Возможно, в угоду им в эмиграции стало модно сравнивать советскую власть с нацизмом. Ну ладно, если плакат с серпом и молотом и свастикой и знаком равенства между ними красуется в редакции парижской "Русской мысли", этого оплота старой эмиграции Там и новые эмигранты уже давно перековались в деникинских есаулов. Для них война — дело особое. Один из сотрудников "Мысли" рассказал мне с ужасом, что в Советском Союзе расстреляли "ни за что" съездившего туда эмигранта из Второй волны, "который, может, когда-то и повесил кого в Белоруссии, но это же было давно!"

Никого не удивило бы такое сравнение и на радио "Либерти", где есть люди, послужившие и тому, и другому Им на руку распространять идею, что никакой разницы между эсэсовцем и солдатом Красной Армии нет, чтоб люди забыли (говоря словами солженицынского Спиридона), что "волкодавом можно, а людоедом — нельзя"

Но безумно обидно, когда такие сравнения появляются в одном из самых вменяемых и толковых журналов эмигра-

* "образованские подстрекательства Февраля" — А Солженицын, "Вестник РХД", № 139, стр 140

ции, в "Стране и мире". Редактор журнала Кронид Любарский проводит это сравнение (в беседе с "охотником за нацистами" Симоном Визенталем) "Нацисты... совершали тягчайшие преступления против человечности. Но не менее тяжкие преступления совершались и в Советском Союзе" Даже если мы говорим об эпохе сталинизма — разве душегубки, лагеря уничтожения, фабрики смерти — практиковались в сталинской России?

Нет надобности обелять преступления сталинизма, разоблаченные Хрущевым на XX и XXII съездах КПСС, Солженицыным в "Архипелаге ГУЛАГ", Шаламовым, Гинзбург и многими другими. Люди гибли на Колыме и в Заполярье, целые народы были сосланы — но тотального уничтожения людей при сталинизме не было, была возможность уцелеть, выжить.

Если уж сравнивать нацизм со сталинизмом, можно сравнить их с двумя чудовищами, созданными фантазией Гомера, со Сциллой и Харибдой. Ужасная шестиголовая Сцилла выхватывала шестерых моряков с проходящего корабля и пожирала их. Но несравненно ужаснее была Харибда, от пасти которой не мог спастись ни один корабль, ни один моряк — всех пожирала Харибда. Поэтому Одиссей, предупрежденный божественной нимфой, направил свое судно к Сцилле, лишился шестерых моряков, но спас всех остальных. Так мой отец, стоявший в 1940 году на "новой границе" между Советской и Германской империями, благоразумно избрал сталинскую Сциллу, и отделался пятью годами Озерлага, вместо того, чтоб превратиться в черный дым в Освенциме у нацистской Харибды.

К смерти у сталинских преступников было отношение халатное — помирают люди? Ну и ладно. Но у гитлеровцев к смерти относились, как к цели, стремились к ней со всей немецкой прилежностью и тщанием.

Многие выселенные татары погибли — но их не уничтожали, как евреев и цыган у Гитлера. И в этом уже — разница. Ее понимали Англия и Америка, заключившие союз со Сталиным против Гитлера, а не наоборот, как желали нацисты. Странно, что теперешние эмигранты перестали понимать это различие.

Но речь идет не сколько о старине, сколько о наших днях. Сравнил бы журнал "Страна и мир" сталинизм с гитлеризмом — была бы в этом передержка, но вполне обычная.

Однако далее становится ясно, что журнал "Страна и

мир”, как и прочие сопоставители, совершает любопытную подстановку — они говорят об ужасах социализма, но выводы делают относительно современной нам России. И Кронид Любарский пишет в том же интервью с Визенталем ”Преступный характер советского режима сейчас ясен почти всем”. Не — сталинизма, а — советского режима вообще. А ведь советский режим — жив. Неужели и Горбачев — двойник Гитлера? Неужели и сегодняшняя Россия — нацистская? Если вы так считаете, тогда выбирайте примеры из быта сегодняшней России, скажем, сравнивайте с Освенцимом — не Колыму, а Потьму или преследования академика Сахарова — с абажурами из человеческой кожи.

Вопрос этот — далеко не академический, ведь не династии Кинь с династией Клинь сравниваем. Нацистская Германия — символ абсолютного, inferнального зла, и invocация ее имени — некий магический обряд, делящий мир на агнцев и козлиц. Тут уже о влиянии и речи быть не может — только об уничтожении зла. После этого сравнения мир становится черно-белым и очень плоским, бинарным: добро — зло, вполне манихейским, по словам самого Крониды Любарского.

Итак, мы назвали симптомы страшной болезни, поразившей в последние годы Блаженные острова Третьей эмиграции. Имя этой болезни — циклопизм, и симптомы ее описал эмигрантский писатель Джеймс Джойс в главе ”Циклоп” в романе ”Улисс” (по-русски — в № 80 ”Время и мы”). Одноглазые циклопы неспособны видеть мир рельефным, многогранным, полным оттенков, где у каждой медали — две стороны. У циклопов плоскостное видение мира: кто не с нами, тот против нас. Выражение ”а с другой стороны” им неизвестно.

В стране слепых и кривой — король, но в стране кривых двухглазый — только помеха: кривые циклопы видят все куда четче, чем двухглазые, а полутона им ни к чему. Циклопам ясно: советская Россия — абсолютное зло, и все ее враги — его друзья.

Чтобы понять различие между подходом двухглазым и циклопическим, можно до бесконечности цитировать Джойса, у которого циклопы брызжат ненавистью к английским оккупантам Ирландии и клянут англосаксонские глупости вроде тенниса, а двухглазый Блюм говорит, себе на голову: а с другой стороны, теннис развивает ловкость. А можно прочесть пере-

писку Наума Коржавина и Генриха Белля в "Стране и мире" № 11 за 1984 год. Для остро страдающего циклопизмом Коржавина мир плосок и черно-бел. Россия — зло, лучше Франко, чем республиканцы, сторонники движения за мир — продались большевикам, "у меня ни тени симпатии к воображаемому турецкому профсоюзнику", страдающему от своей правой диктатуры, "Пиночет спас страну" и пр. Мир двухглазого Белля многогранен и многоцветен. "О том, насколько жестока и бессмысленна советская система, нам с Вами нет необходимости спорить, а вот о жестоком абсурде нашей здешней системы, абсурде, который далеко не во всех отношениях обусловлен влиянием Советов, поговорить стоило бы".

К слову говоря, Кронид Любарский, несмотря на, по моему, ошибочные сравнения, полностью оправдал себя от обвинения в циклопизме, напечатав эту полемику, ибо ненависть к внутрижурнальной полемике является не переменным отличительным свойством циклопа, наравне с великаньим ростом и волосатостью.

В большинстве эмигрантских изданий циклопизм полностью восторжествовал. "Мы не согласны с вашей статьей, поэтому мы ее не напечатает" — такой ответ можно услышать и в "Русской мысли", и в "Новом русском слове". Элементарная свобода журнализма, принятая на Западе, когда в одной газете появляются статьи, выражающие различные мнения, совершенно неизвестна эмигрантской печати. А ведь свободный мир на том и зиждется, что издатели газет и журналов достаточно плюралистичны, достаточно всеядны, что большие газеты и журналы являются трибуной для всех. Почему это важно? А вот почему.

Третья волна — это эксперимент в малой форме, возможна ли демократия в России. Это эксперимент в идеальных условиях рядом — западные демократические традиции, западная технология, западная полиция, наконец, чтоб дело до кулаков не доходило. Если бы Третьей волне удалось установить подобие демократической, открытой прессы, если бы в ней господствовали демократические и либеральные течения, можно было бы сказать — в России демократия западного образца возможна.

Но возьмем, например, самую большую русскую газету Зарубежья — "Новое Русское Слово". В ней не может появиться

статья, критически оценивающая американскую официальную политику (или упоминающая Синявского без хулы) Неважно, что такая статья (и похлеще) может появиться в любой американской газете — в русской прессе такому разброду места нет "Новое Русское Слово" несравненно либеральнее "Русской мысли", но и оно куда менее открыто, чем любая нормальная американская газета

Г-н Струве на страницах "Вестника РХД" называет цензуру, царящую в русской эмигрантской печати, — мифом Почему бы г-ну Струве не попробовать послать в "Новое Русское Слово", "Русскую мысль" и "Континент" статью, скажем, из английского журнала "Экономист", осуждающую решение Рейгана избежать рассмотрения в Международном суде в Гааге жалобы Никарагуа, или подборку статей из "Нью Йорк Таймс" против программы "звездных войн" Или об опасностях фашизма и расизма в современном западном обществе?

По словам г-на Струве, существует не цензура, но — отбор материалов по направлению журнала Я готов принять этот довод в отношении "Вестника РХД", особого издания с теологическим уклоном, и не претендующего на какую-либо представительство Но к общей эмигрантской прессе он не применим

Мы живем и работаем в обстановке жестокой цензуры, неизвестной на Западе Наши коллеги-журналисты во Франции, в Америке, в Израиле не понимают и с трудом верят, что такой микроклимат возможен в этих странах Иногда цензура вызвана опасениями редактора потерять субсидию — я знаю по крайней мере об одном случае, когда выпуск русского журнала не был куплен субсидирующей государственной организацией потому, что в нем была помещена "в порядке дискуссии" статья, не устраивающая дающих субсидию чиновников У редактора было после этого серьезное основание подумать о самоцензуре

Трудно сказать, где начинается, откуда ведется этот обычный цензуры — от референтов субсидирующих организаций, от "своего" начальства — для меня это загадка Почему, например, "Свобода" должна передавать материалы, которые проще всего назвать московским радио навыворот? Тот же комсомольский гнев и задор, только нацеленные не на (скажем) Рейгана, а на Кремль Хоть и есть там здравые люди, "но голос не смеют они подавать, боясь диких криков ослиных"

О ждановщине в журнале "Континент" писал в свое время Михайло Михайлов, бывший член редколлегии журнала, ему виднее. И все же хотелось бы тут поздравить г-на Максимова с прекрасным 45-м номером с Веничкой Ерофеевым. Интересно вспомнить, что до 1971 года органы Первой и Второй эмиграции — "ИМКА-пресс" и "Грани" — отказывались печатать "Москву-Петушки", как клевету на русский народ. Возможно с годами, вопреки общей тенденции, г-н Максимов решил отойти от циклопизма, столь отличавшего его в прошлом. Я повстречал его как-то на похоронах нашего общего друга Петра Равича и обронил вежливую банальность о тщете и суете, на что получил немедленный ответ "Лучше мертвый, чем красный" или что-то в этом роде.

Циклопизм — это подлинная опасность потому, что он убеждает нас воочию в невозможности и несбыточности свободы. Да, за отступление от циклопической линии не посадят — но постараются лишить доходов. А их в эмиграции не густо, и все — из одного источника. Поэтому мудрые пишущие эмигранты начинают ходить на Западе осторожно-осторожно, даже те, кто ничего не боялся в России, здесь опасаются сказать слово, которое не понравится циклопам. Ведь на западе диссидентство в русской прессе оборачивается только бесхлебьем, а не вниманием западной прессы и народным почтением.

Свобода не может быть только свободой писать так, как считает правильным пахан.

Идеологические споры — вещь вполне допустимая и на страницах общеэмигрантских газет им самое место. Возможно — я не шучу — вопрос о демократизации России будет решен на основе того, удастся ли демократизировать "Русскую мысль", "Новое русское слово", "Континент", "Свободу". Если б это удалось, эмиграция смогла б выковать в Зарубежье основы демократической, плюралистической России. А для этого газеты должны отражать весь спектр мнений, законно существующих в демократическом обществе, они должны быть по крайней мере не менее свободными, нежели западная печать.

И тут надо сказать, что циклопизм принес оголтелость и в отношении между людьми. Когда-то дореволюционная эмиграция жила довольно мирно, несмотря на идеологические разногласия, Ленин и Плеханов мирно пили кофий вместе. Тот же обычай существует и в западной политике. Во время своей ра-

боты в израильском парламенте я видел, как спокойно сидят за одним столом в кафе политические противники и толкуют о том да сем. А у нас — можно ли представить себе, скажем, гг. Синявского и Максимова за одним столом? А на одном гектаре? Возможно, наша первая задача — это гуманизировать внутренние отношения. Ведь фашизм начинается с де-гуманизации противника, а демократия — с признания его человеческой сущности. Я верю, что циклопизм — обратим, поддается лечению, может даже пройти с годами.

А тогда, не жизнь, а лафа начнется на островах Третьей волны! Представляете — звонит Наталья Горбаневская и просит: "Напишите статью, которая меня бы возмутила — для нашего журнала. А потом заходите, чаю попьем."

Но у циклопов есть одна проблема, кроме плоского зрения — они не видят очень опасного результата, произведенного от их крестового похода против коммунизма. Намеренно или не намеренно, многие из них приближаются к фашизму и расизму. Это начинается коржавинской апологией Пиночета и Франко. Рядом с ним стоит простой русско-еврейский эмигрант в Нью Йорке, который, как правило, смертельно ненавидит черных. "Выселить бы их в Африку!" — эту сентенцию я слышал от множества лишь недавно приехавших в Америку эмигрантов. С наивностью новоприбывших они не понимают, что на Западе воспитанные люди не высказывают подобных мыслей вслух.

За антикоммунизм прощают все, а под коммунизмом циклопы понимают слишком широкий спектр мнений — скажем, все, что левее Родзянки. И соответственно, этот подход становится все более популярным в эмиграции — иначе, не дай Бог, зачислят в шпионы, не дадут гражданства, замучат доносами.

Соответственно, во всех странах русские эмигранты по следовательно занимают крайне правый угол местной политической карты. На последних президентских выборах в Америке русская (русско-еврейская) Америка голосовала за Рональда Рейгана — (в отличие от американских евреев), голько потому, что не было кандидата от общества Джона Берча "Мондейл" — советский шпион", — сообщили мне в те дни по секрету в редакции "Нового Русского Слова" — "Мы стоим за Рейгана". Не думаю, что среди сторонников Рейгана в Америке было много людей, считавших его оппонента — советским шпионом. Ясно,

что в "Русской мысли" Миттерана считают советским агентом. Как справедливо заметили эти Кастор и Поллукс русско-американского журнализма, Генис и Вайль: "Правее нас только стенка" К этой стенке мы хотели бы поставить всех тех, кто левее нас

Для решения западных проблем "бывшие советские люди" предлагают, как правило, самые радикальные решения: прижать, расстрелять, выселить, прищучить. "Им бы Сталина, он бы им показал!" – сколько раз слышал я эту фразу из эмигрантских уст применительно к местным непорядкам. Милейший Юэ Алешковский, автор популярной песни "Товарищ Сталин", большой ненавистник советской власти и социализма, пожалел, что в Израиле нет своего Сталина, который выслал бы арабов, как выслали крымских татар. Еще более характерной является программная статья Александра Солженицына в "Вестнике РХД", где он, несколько неожиданно, призывает приблизить Америку к советскому идеалу, который он осуждал в свое время. Солженицын хвалит в ней эмигрантов, которые "все яснее видят язвы Америки и все отчетливее о них говорят". Каковы же эти язвы? Не проблема бездомных, не расовая проблема, не проблема несбалансированного бюджета, как предположил бы любой журналист из "Нью Йорк Таймс". Вся беда Америки – что она не учится у Москвы или у Сеула, как навести "внутренний порядок". Вот они, по словам А.И. Солженицына, "трезвые пожелания" Америке, что ей нужно сделать: "ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства (в Москве не вмешивается), усилить административную власть за счет парламентаризма (достигнуто еще при разгоне Учредительного Собрания); укрепить секретность государственных военных тайн (это пишет создатель Иннокентия Володина); наказывать за пропаганду коммунизма (по ст. 70 и 190), освободить полицию от чрезмерных законнических пут (освобождена – нарком Ежов); облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника (признание?) от гомерического адвокатского формализма (ввести ОСО?); перестать твердить про права человека и сделать упор на его обязанности (скажите это хельсинским группам в СССР), воспитывать патристическое сознание у молодежи (фильм "Рэмбо" ему должен бы придти по вкусу), запретить порнографию (выполнено), усилить сексуальный контроль (намек на Параджано-

ва?)” (“Вестник РХД”, № 139, стр 147, все замечания в скобках — мои — И.Ш)

Это — изумительная программа В той же статье А И Солженицын советует спорить с ним, а не с шариковыми, и по вопросам программным Но спорить тут не о чем, можно только спросить, стоит ли огород городить, чтобы заменить “антисоветскую пропаганду” на пропаганду коммунизма” в статье 70?

Программа “трезвых пожеланий” указывает на то, что ее сторонники окончательно отказались от демократического либерализма диссидентского движения и фактически стоят за установление в России “тирании без большевиков”, анти-коммунистического сталинизма. Эта программа становится все более популярной в эмиграции — так в Первой эмиграции победили не Милюков или Набоков-старший, но их убийцы А это еще больше отдаляет эмиграцию от России и от возможности влиять на происходящее там.

По мнению редактора “Синтаксиса” тот факт, что эмиграция и диссидентство не предложили подлинной альтернативы советскому режиму, способствовал гибели диссидентского движения. Однако, на мой взгляд, в этом предложении следует поменять местами причину и следствие Диссидентское движение погибло, выезд из России прекратился и оторванная от своей базы эмиграция ушла в неизбежный радикализм и поэтому не смогла предложить альтернативу.

И хотя это выходит за рамки данной статьи, можно сказать тут, что программа “трезвых ожиданий” — не единственно возможная. На Западе существует альтернативная традиция, которой не заметил А.И Солженицын, традиция Торо, автора “Уолдена”, по которой права есть у граждан, а обязанности — у государства, причем главная из них — как можно меньше вмешиваться в жизнь граждан. Эта традиция — за человека, против посягательства общества — была насмешливо выражена героем “Улисса” “Мне говорят — умри за Ирландию. Пусть Ирландия умрет за меня” На этой традиции — на признании суверенности человека, полученной из рук мастеров Возрождения, — возникло современное западное общество, воскресившее с годами вторую важную библейскую традицию помощь слабым

Есть у патриотизма и другая альтернатива, прекрасно сочетающаяся с гуманизмом — любовь не к воображаемой общей родине, России ли, Америке, Франции или Ирландии, но к ре-

альной Матере, Йокнапатофе, Оку или Дублину. Не случайно в программе "трезвых пожеланий" не упоминаются права местные, общинные — в противовес всегосударственным ни эмигранты, ни Солженицын не заметили мощной американской традиции местной власти, по которой больше полномочий принадлежит штатам, нежели федеральному правительству в Вашингтоне. Эта всеместность, или отказ от привязки к месту — появились и раньше в творчестве Солженицына его Шапов на простой вопрос, откуда он, отвечает из фронтовой местности, отрекаясь от своего происхождения И по сей день, я думаю, лучшим произведением Солженицына останется "Матренин двор", в котором он отказывается от всеместности и выбирает конкретное село и живого человека

Четкая привязка к местному, в отличие от общегосударственного и всенационального, позволила бы устранить и самые одиозные черты доктрины Солженицына если бы он думал об отдельных селах и отдельных людях, а не об абстракции российской судьбы, он не пытался бы оправдать изгнания татар из Крыма, потому что это изгнание сводилось к изгнанию обычного, не-мифологического Мустафы или Ахмеда из обычного аула в горах, скажем, Коктебеля

Местное — существует, в отличие от общего абстракта Именно в нем, а не в национальной историософии, заключается альтернатива отчуждающему и нивелирующему влиянию века Ничего хорошего не получается в наши дни из попыток мифологизировать страну и народ ни в попытках воскрешения Римской империи при дуче, ни в рифмах "Россия — Мессия", ни в наших, израильских, попытках реализовать с помощью автоматов и грузовиков, пророчества Исаии и Амоса Но я спорю с мифологизаторами не от имени великого космополитического всемирного целого и единой семьи народов, но во имя отдельности людей и сел

И поэтому я предпочитаю местного Фолкнера — всеамериканскому Рэмбо, и если уж правду говорить — местного Распутина — всерусскому Солженицыну

Русское либеральное движение — в России и в зарубежье — должно избежать ловушки, приготовленной националистами и славянофилами, как будто речь идет о выборе "сохранить свое лицо" или "отказаться от него во имя всемирной обезлички" Прямо в эту ловушку попал А Д Сахаров, говоривший о

праве на эмиграцию, как о первейшем праве. (В. Нэйпол в "Путешествии к правоверным" говорит о пакистанцах, стремящихся бежать из своей страны в сытую Европу: "Не странно ли, что он хочет только одной свободы — свободы покинуть свою страну?" — и хотя мы привыкли предпочитать бегущих ради истин — бегущим ради куска хлеба, это предпочтение мне не очевидно.)

Национализм торжествует именно тогда, когда погибает подлинное, местное ощущение человека, когда ослабевают его связи с Тосканой, Рязанью, Текоа — тогда ему нужны идеалы Италии, России, Израиля.

Но у правого поворота бывших диссидентов есть еще одно объяснение: непонимание диалектики. Эмигранты — бывшие диссиденты, оказавшись на Западе, должны были задать себе вопрос — где мы стоим в отношении местных проблем, — и постараться сохранить верность самим себе. Если в России они были против удушающего брежневского консерватизма, за свободу человека — на Западе они должны были бы найти людей, стоящих против консерватизма и за свободы. Вместо этого они предпочли пойти по пути простого семантического сходства, просто поддержать анти-коммунистов, хотя общего между анти-коммунистами в России и на Западе мало.

Одна диссидентка сказала мне в момент откровенности: "Если бы я родилась на Западе, наверно, я стала бы анархисткой". Я не сомневаюсь, что большинство бывших диссидентов, искренне отвечая на вопрос: "кем мы бы были, если б родились на Западе?" не сказали бы: "Среди сторонников Джесси Хелмса и Ле Пена". Одно время я верил — несколько наивно — что, достаточно познакомить бывших диссидентов с бывшими бунтовщиками Беркли и Парижа, как обе стороны поймут друг друга. Время и опыт показали, что диалектика такого рода русским экс-диссидентам мало понятна. Кроме этого, сейчас, когда нет больше бунтовщиков ни в России, ни на Западе, вся эта тема стала мало понятной.

Поэтому особенно интересно рассмотреть поведение русской общины в Израиле, самой большой и разнообразной общины Третьей волны. Там, конечно, большинство евреи, — но это, как заметила Зинаида Шаховская, верно в отношении Третьей волны где угодно, от Лондона до Веллингтона.

Политически русские евреи в Израиле сориентировались

так же, как и прочие русские эмигранты в других странах и большинстве своем они поддерживают самые экстремистские группы и движения. Нашлось немало русских, которые на выборах в парламент отдали свои голоса израильским неонацистам (партия Кахане) и французскому жулику Флатто-Шарону, который с тех пор был осужден израильским судом за подкуп избирателей

История голосования за Флатто особенно интересна из "модельных" соображений что происходит с политически незрелыми людьми в условиях демократии. Флатто, коммерсант с амбициями, бежал из Франции в Израиль, спасаясь от французских налоговых властей. Чтобы избежать выдачи, он выставил свою кандидатуру на выборах в парламент Флатто сосредоточился на двух группах населения: на выходцах из Марокко, живущих в маленьких провинциальных городках, и на выходцах из России. Успех превзошел все ожидания на выборах в 1981 году он получил два мандата, предположительно один — за счет русских голосов. Среди "активистов" Флатто были известные участники сионистского движения в России, бывшие лидеры, имена которых были известны всем в свое время, которых я не называю только потому, что с тех пор они отошли от политической жизни. Методы Флатто были просты и ограничились с обыкновенным подкупом.

Поддержка неонацистов, к сожалению, не является уделом прошлого, в отличие от истории с Флатто. О ней практически не писали в западной русской прессе "Русской мысли" статья на эту тему оказалась "политически неприемлемой" Русские сторонники Кахане проявили особую активность в ходе последних выборов. Один из них, экс-москвич Павел Гильман, призывал на страницах русской газеты депортировать всех арабов, если уж нельзя уничтожить их физически (это он назвал "решением на любителя"). Статья называлась просто "Убрать их" В другой статье он же благословлял "еврейских террористов", группу, занимавшуюся террористическими актами против арабов. Эта статья называлась, соответственно, "Молодцы!"

Независимый русский еженедельник "НЭС" давал нацистские статьи Гильмана на первой полосе, как передовые. (Орвелловский штрих: когда, после моего обращения в прокуратуру, газету, вместе с Гильманом, привлекли к ответственности

за подстрекательство к насилию и мятежу, кахановцы и их сторонники организовали митинг протеста против зажима печати под лозунгом "Фашизм не пройдет").

"Русский консенсус" в Израиле немногим отличался от программы Кахане. В этом смысле показательным было недолгое существование газеты "Иерусалимский курьер" под редакцией Эммы Сотниковой. Вокруг этой газеты сплотились почти все лучшие умы русской израильской общины, газета была абсолютно независимой, выражавшей мнения и чаяния авторов. Подавляющее большинство политических материалов в газете отражали мнения кахановцев и близких им крайне правых и религиозных партий. Например, в этой газете русский поэт Борис Камянов так комментировал нападение кахановцев (приговоренных израильским судом к нескольким годам тюрьмы) на автобус, везший палестинских рабочих на работу в Израиль "В таких автобусах к нам приезжают убийцы".

Слава Богу, люди, знакомые читателям "Синтаксиса". Майя Каганская, Юрий Милославский, Нина Воронель, Михаил Хейфец, Давид Маркиш, и другие — остались на либерально-гуманных позициях. Но они были в меньшинстве. В Израиле существует единственный свободный коммерческий русский еженедельник Зарубежья — журнал "Круг", редактируемый Георгом Морделем, который регулярно печатает статьи авторов с различными точками зрения. И там появилось немало статей читателей, в которых воспевались сталинские методы решения национальных проблем — конечно, применительно к арабам. Мне показалось глубоко характерным, что сотрудник "Русской мысли", "наш человек" для Наталии Горбаневской, в разговоре на израильские темы, предложил решить палестинскую проблему с помощью друга — арабы ведь не люди. С ним согласились бы и израильские неонацисты.

Если судить по русской общине в Израиле о возможных путях развития общества в России — проблема неонацизма и фашизма может стать серьезной в случае возникновения идеологического вакуума. В целом русская израильская община, так же как и Третья волна в Америке и где угодно (исключая подлежащее исключению), стоит за свой вариант веры, царя и отечества, за своего родного Пуришкевича и Маркова Второго. Вера, естественно, не православная, но исповедуется не менее истово эмигрантами в Иерусалиме, нежели эмигрантами в Па-

риже, и те, и другие любят потолковать о постах, завести бороды и глядеть свысока на всех, не придерживающихся подлинной веры. Программа "трезвых пожеланий" вполне разделяется русскими евреями в Израиле, зачастую выражается в простой ясной форме: "Чего с ними церемониться".

Цензура субсидируемой русской прессы и господствующего русского радио в Израиле сделала бы честь Жданову эти органы выдают чистую пропаганду и апологетику традиционного сионизма, и любой шаг в сторону рассматривается там, как побег. И тут этот жестокий тоталитаризм русской общины резко противоречит куда более демократическим обычаям Израиля в целом.

Возможно, причины этого циклопизма среди русских евреев в Израиле заключается именно в гибели конкретного и местного элемента в их жизни — эмигранты оказались патриотами страны, не будучи патриотами своего села, города, поселка, проще говоря, стали патриотами без корней. Возможно, это проблема и всей эмиграции в целом.

Ведь недаром Улисс тосковал не по Элладе, а только по родной Итаке.



САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ РУССКАЯ КНИГА!

РАЗСКАЗЫ БАБУШКИ.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ПЯТИ ПОКОЛѢНІЙ,

ЗАПИСАННЫЕ И СОБРАННЫЕ ЕЯ ВНУКОМЪ

Д. БЛАГОВО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. С. Суворина Эртелевъ пер., д. 11—2

1885



«Синтаксис»-репринт, 1986, Цена 240 фр. фр.

А. Кустарев

ДЕТИ СОЛНЦА

(Драматический отрывок)

Садовник. Вот, пожалуйста, садитесь У нас всем место есть Не хотите ли чаю?

Кучер. От чаю не откажусь.

Лакей. Ага! Пришел новый человек. Сейчас мы его спросим. Скажи-ка, любезнейший, считаешь ли ты, что демократия спасет нас от тоталитаризма?

Кучер. Нет Демократия – зло. Она слаба, она разврат, она прогнила

Лакей. Очень правильно От тоталитаризма нас спасет только вера Только духовность, только подлинная духовность

Истопник. И свободный рынок.

Лакей. И свободный рынок, свободное предпринимательство Истинная вера и свобода предпринимательства – это два кита, на которых стоит общество

Садовник. И вы забыли третьего кита. Абсолютная нравственность.

Лакей. Да, да Свободное предпринимательство плюс абсолютная нравственность. Именно так

Горничная. Люди должны понимать душу. Подлинная любовь требует духовной любви И, конечно, женщинам должна быть предоставлена свобода.

Кухарка. Нам должны разрешить не работать и ходить в церковь.

Лакей. Это несомненно будет сделано. Мы восстановим все церкви.

Истопник И свободный рынок

Лакей Именно Свободный рынок и церковь — вот два кита, на которых будет стоять общество

Казачек. И я жа швободное плетплинимательсво

Кучер. Единство власти и народа — вот залог всеобщего благополучия. Нынешняя власть полностью оторвалась от народа. Она преследует народ. Она его спаивает и не дает ему родиться Она хочет уничтожить народ. Потому что она оторвалась от народа и, уничтожив народ, надеется спасти сама.

Гувернер Вся беда в том, что власть состоит исключительно из нехороших, непорядочных людей. Это неинтеллигентные люди Они не понимают, что слезинка ребенка

Горничная Именно непорядочные люди. Все баре непорядочные, им ничего не стоит обмануть бедную девушку, завлечь и обмануть

Гувернер Пожалуйста, дайте мне закончить мысль

Горничная. Подумаешь — мысль! Я тоже имею права. Где подлинный плюрализм? Вы должны быть плюралистом

Гувернер (дрожащим голосом) А я и есть плюралист

Кучер И я плюралист

Садовник Я тоже, я тоже

Казачек И я плюларист

Горничная Я знаю ваш мужской плюрализм. Вы должны быть *настоящий* плюралист

Гувернер Плюрализм должен быть идеалистическим Нам не нужен французский плюрализм Мы за такой плюрализм, чтобы народ и власть были едины Плюрализм, который идет от просвещения, сатанинский плюрализм Наша идея — плюрализм плюс безусловный запрет всего сатанинского Вот два кита, на которых голько может стоять святотратия

Истопник. И свободное предпринимательство

Гувернер Ну, разумеется, свободное предпринимательство
Без него никак

Лакей Разумеется мы не против просвещения Но мы против ложного просвещения, за подлинное просвещение Мы против просвещения разума Мы за просвещение души и сердца. Мы хотим создать новую демократию — демократию души и сердца.

- Кучер** Главное — это чтобы все было по совести
- Истопник** На основе свободного предпринимательства
- Лакей** Ну конечно, конечно, совесть и свободное предпринимательство — вот два кита
- Гувернер.** И сильная власть Подлинная свобода возможна только при сильной власти.
- Горничная.** Властвовать должен поэт. Он понимает все эстетически, говорю я вам. Только эстетический взгляд на мир может привести к справедливости и порядку.
- Истопник.** И свободное предпринимательство
- Гувернер.** Эстетизм плюс свободное предпринимательство.
- Кучер.** Как сделать общество божественным? Я знаю Я знаю. Сатанинское общество нужно крестить Тогда оно станет божественным.
- Истопник.** Без свободы предпринимательства ничего не выйдет
- Гувернер.** Но свободное предпринимательство должно быть крещеным. А так — я согласен.
- Лакей.** (*ломая руки*) Нам нужно сильное государство, национальная идея плюс свободное предпринимательство.
- Истопник.** Зиг хайль!
- Горничная.** Фу, какие слова
- Гувернер.** За эти слова мы вас, кучер, не похвалим. Возможно, что эти слова могут быть произнесены на гнилом рационалистическом западе, но у нас тут совсем другое дело. У нас национальная идея и свободное предпринимательство будут проникнуты духом Софии и мистической правды.
- Лакей.** Но поймет ли народ нас, интеллигенцию? Поймет ли? Мы к нему с открытой душой, но поймет ли он нашу душу? Идея мистической правды, идея абсолютной совести, боюсь, чужда нашему народу
- Садовник.** И идея красоты. Наш народ не дорос еще до эстетического понимания действительности. Он грубо рационалистичен и рационален.
- Горничная.** Ему недостает подлинной религиозности. И он не понимает проблемы прав человека. Боюсь, ох боюсь, ему не нужна свобода.
- Истопник.** И до свободы предпринимательства он тоже не дорос Он понимает свободу предпринимательства как свободу воровать. А нам нужно свободное предпринимательство, проникнутое духом Софии.

Лакей. (*ломая руки*) Что же делать, что же делать. Где взять народ, который был бы достоин истинной религиозности и абсолютной морали?

Гувернер. Где взять народ, который ценит бы интеллигенцию?

Истопник. Мы в трудном положении. Надо отбросить предрассудки. Если народ не любит свободу, нам нужна сильная власть, которая заставила бы его любить свободу.

Все ходят и размышляют.

Матрос (*входя*) Которые тут временные? Позвольте вам выйти. Кухня понадобится для приготовления пищи трудящимся.

Все выходят.

Матрос (*чеша затылок*) Нет. Мы пойдем другим путем.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ!

Издательство "Синтаксис" предлагает:

Геннадий АЙГИ. Отмеченная зима — 115 фр.

Вадим КОЗОВОЙ. Прочь от холма — 84 фр.

Алексей ХВОСТЕНКО. Подозритель — 60 фр.

Алексей ХВОСТЕНКО. Поэма

эпиграфов — 60 фр.

Марина ТЕМКИНА. Части часть — 84 фр.

Требуйте во всех русских книжных магазинах!

При заказе в издательстве — скидка 20%

Игорь Померанцев

MIT BLUMEN AUCH SCHÖN

Драма в I действии

Действующие лица:

ЭРНЕСТ (за тридцать)

ЭДУАРД (под пятьдесят)

ВИКТОР (около тридцати)

АЛЕКСАНДРА (чуть старше двадцати; говорит с акцентом)

ЛЕСИК (мальчик девяти лет, говорит с легким акцентом)

Гостиная Дверь, ведущая в кухню, открыта Другая дверь, по-видимому в коридор, закрыта Мебель вполне пристойная, но на всем лежит печать холостяцтва Книжный шкаф Комод Диван Тумбочка Телефон Стол и два стула Еще один стул в углу Там же деревянная детская лошадь Стереоустановка За столом сидит Эдуард Лицо его заслоняет газета "Интернейшнл Геральд Трибюн" Окно прикрыто металлическими жалюзи Но, судя по электрическому освещению, уже вечер В комнату входит Эрнест Он идет по домашнему На ногах тапочки Шурится на свет Идет в кухню Оттуда слышен его голос

Эрнест Насилу уложил Тебе какое, местное или баварское?

Эдуард (сворачивает газету) Дай подумать Вроде не душно

Спешить некуда Пить можно медленно для души

Баварское! Оно душистей хлебом пахнет кисловатым. как наш

Эрнест *(слышно, как он открывает холодильник Появляется с четырьмя бутылками. Две ставит перед Эдуардом, две – перед собой. Садится поудобней Откупоривает Пьет из горлышка)* Да, три года уже.. Как корова языком.. Но самое ужасное – первый вечер... в пансионе.. где-то у черта на куличиках . Портье в майке. . челочка косая... затылок стриженный и. . грудастая.. то ли баба, то ли мужик, гермафродит какой-то... свет в коридоре только включишь, а он сразу гаснет, я думал контакт никудашний. . а это экономия... у нас так не жадничают .. даже в лагере *(оба пьют)*. Лесик брезговал лечь... простыни блеклые, с ржавыми крапинками. но так намаялся, что свалился... Глаза слипаются, а сам бормочет – никогда не забуду – "Папа .. это страна уродов . и воняет так". Чем, спрашиваю. – Смертью...

Эдуард *(смеется)* В шесть лет мы все поэты.. Если со стороны посмотреть... А что он, интересно, имел в виду?.. Запах пансиона? . Или простыни? *(Звонит телефон. Эрнест встает из-за стола. Задевает бутылку. Она падает, но он тотчас ее подхватывает. Чертыхаясь, подходит к телефону и снимает трубку.)*

Эрнест Да... Да... Ты что, дома еще?.. Ждем. . Не поздно .. Самый раз. Да нет, можешь привести . Пусть себе сидит истуканом . Что ж нам из-за нее на их тарабарщину переходить? В кои веки собираемся. . А, ну другое дело... Даже пикантно... Давай с ветерком... будь! *(кладет трубку. Возвращается к столу.)* Едет .. С новой зазнобой...

Эдуард Опять новая?

Эрнест Да, туземка. Аспирантка Института этнографии.. Наш регион изучает

Эдуард О Боже! Это ж какой дурой надо быть! *(Пьет пиво)* Изучала бы лучше папуасов . Здесь ими восхищаются... *(с сарказмом)* Естественная, органическая жизнь, не то что у европейцев У меня позывы к рвоте, когда все это слышу Или русских. Сверхдержавы всегда в моде *(саркастически)* Что вы думаете о новом советском руководителе? *(оба смеются)*

Эрнест *(отпивает несколько глотков Возвращается к прерван-*

ному разговору) Помоев, наверно Мы в пансион с черного хода зашли где столовка а там баки сливные с какой-то скисшей бурдой . Таким смрадом шибануло

Эдуард Ну, не скажи Это как раз запах жизни *(пьет пиво)* Вот когда запаха вовсе нет .. Вздыхаешь, тужишься, ноздри раздуваешь – и ничего, хоть бы дерьмом откуда потянуло Во, вот это – смерть

Эрнест А я все время запах чую Слабенького кисловатого по-та Не так, чтоб с ног валило не тяжелого, трудового, знаешь, настоящего так что не подступишься без противогаза а хилого . как у сердечников бывает или диабетиков *(откупоривает вторую бутылку)*

Эдуард Я как вижу цветок какой или дерево цветущее, подхожу и нюхаю, нюхаю и хоть бы хны Стерильные здесь цветы а если долго и жадно нюхать, голова кругом идет Дурешь как наркоман а кайфа никакого

Эрнест А я тебе наводку дам В первый год я ведь чуть не каждый день в бюро по найму ходил, знаешь? За ратушей Там приемная... ну, как у меня кухня вот *(вытягивает руки перед собой)* рук не вытянешь Так туда всякие отбросы, вроде меня, набивались. И почти сплошь турки Клерк, наверно, думал, что я с приветом Пособие-то мне платили, а отмечаться положено раз в месяц А я, что ни день – в бюро Из-за турок Они такпряно пахли Ну, как у нас на юге где-нибудь, на базаре *(Пьет пиво)* И вот еще В парке, когда скамейки красят Подстелишь газету потом сядешь, глаза закроешь и вдыхаешь Запах точь-в-точь как от парт в первый день учебного года Учительский стол цветами завален, пионами, астрами и запах свежевыкрашенных парт Вот это кайф Не то что *(презрительно смотрит на бутылку, делает жест, словно собирается смахнуть ее со стола Передумывает и отпивает несколько глотков)*

Эдуард А ты заметил, что здесь скамейки разделены чугунными подлокотниками? Вроде вместе сидишь и в 10 же время отдельно Каждый за себя Избегать контактов Ну, а если с девушкой, тогда как?

Эрнест Знаешь в нашем возрасте

Эдуард Дело же не в возрасте Дело в девушках У тебя, может, иначе все Тебя там жена бросила, пока ты ящики в

лагере сколачивал Так ты на них всех в обиде... А я пробовал. Я же хотел новую совсем другую жизнь начать. Старый дурак. Думал, что жизнь может быть новой или другой Думал, страна другая . Даже сошелся с одной. Но это же сплошной секс... и никакой .. ну.. Ты понимаешь? Просто тело трется о тело — и баста .. А когда порознь, ну, на расстоянии, то ничего . и воздух между вами не колышется, не пульсирует... а в постели.. как опытная настройщица.. настроит .. и... А в конце еще спросит "Все в порядке?" *(делает несколько глотков)*.

Эрнест И чем все кончилось? Бросила тебя?

Эдуард Если бы Верная была, как собака. Аж противно. Хоть палкой гони. Пришлось придумать, что, мол, жене дали выездную визу и что она ко мне приезжает, хочет сойтись и подло бросить ее одну-одинешеньку на чужбине.. Подействовало *(Звонок в дверь Эрнест встает и выходит Эдуард допивает вторую бутылку. В гостиную доносится гул голосов. Входят Эрнест, Виктор и Александра. Эдуард встает, задевая столик, так что ему приходится придержать рукой бутылки Все улыбаются)*

Виктор Вот, познакомьтесь Это Александра *(Эрнест и Эдуарджимают ей руку)* А это Эрнест. . Эдуард .. Только неделю как из наших краев *(смотрит на Александру Она улыбается Эрнест придвигает к столу еще один стул. Жестом предлагает сесть Виктор садится к столу, а Александра на край дивана Эрнест выходит в кухню Слышно, как он открывает холодильник Приносит четыре бутылки пива и одну кружку для Александры Откупоривает. Садится. Делает несколько глотков)*

Эрнест *(обращаясь к Александре)* Ну и как съездили? Не жалеее?

Александра Я ведь в командировке там была В Государственной библиотеке Материалы собирала У меня диссертация такая "Упадок Центральной Европы в эпоху Ренессанса" *(все смеются)*

Эдуард Ну, зато теперь у нас гам ренессанс . а у вас упадок *(смеются)*

Виктор *(обращаясь к Эрнесту)* Да, а поздравить забыли! *(Хлопает Эрнеста через стол по плечу)* Ну, показывай *(Эрнест встает из-за стола Направляется к тумбочке возле*

дивана Достает из ящичка две синие книжечки Одну протягивает Александре, другую Виктору)

Виктор (листая) Ну, теперь ты человек Синенький, двухполосый (читает) Titre de voyage Travel Document Reiseausweis Женевская конвенция от 28 июля 1951 года настоящий документ выдан вместо паспорта с тем, чтобы предоставить возможность подателю сего документа путешествовать за границу. . Но самое главное (листая) вот здесь.. на седьмой странице.. Въездная виза не нужна для посещения следующих стран Бельгия, Дания . Люксембург (все, кроме Александры, иронически смеются) Соединенное Королевство Англия! Да там же не люди а водоросли . Народы, которым за тыщу, возвращаются к тому, с чего начали Посмотрите-ка, на евреев! Это же птицы! Как-нар! . А шведы? Я не палеонтолог, но если вы меня ночью разбудите и спросите, где живут динозавры, я без запинки выпалю в Швеции Но англичане Это даже не животные . это водоросли с цепкой памятью на прошлое, и никакого настоящего Неделю кряду смотрел в гостинице новости в Лондоне . Хотел понять, что же для них значит "новость" Двадцать пять минут о себе но всегда одно и то же собака спасает тонущего ребенка – или наоборот... забастовка дворников хоть у них там дождь да ветер за дворника И погода! На десерт Прямо вся нация кончает, когда прогноз погоды . Это же для водорослей самое важное И пять минут об острове в Индийском океане новости из-за рубежа только об этом острове, потому что когда-то он был их колонией и теперь одно упоминание, как глоток джина Остров-наркотик (делает несколько глотков) Воспоминание о бицепсах об империи, от которой клубок водорослей (обращается к Александре уже другим тоном) И как там (иронически) на родине?

Александра С чиновниками трудно В библиотеке все в спецфондах да в спецхранах а туда допуск особый нужен мне обещали-обещали так и не дождалась визу не продлили. Ну, а люди как люди Даже живее, сердечнее, чем у нас или в России В гости приглашали в ресторан . У вас рестораны не то что здесь . все танцуют, веселятся

Эрнест А что танцуют?

Александра Сейчас в моде вот это танго (*напевает, Эрнест встает Идет к стереоустановке Включает кассету. Звучит танго.*) Да, да, вот это

(Виктор встает и церемонно приглашает Александру Они танцуют Потом садятся Александра листает дорожный документ Виктор тоже раскрывает документ и продолжает читать вслух)

Виктор Нидерланды Республика Ирландия . Федеративная Республика Германии

Александра (*обращаясь к Эдуарду*) А в Западной Германии бывали? Там, особенно в Баварии, почти как у вас даже запах навоза в деревне и во всем.. в культуре... могут быть увидены аграрные корни.

Эдуард Вроде и был . и не был Как-то собрался с силами. . купил билет и полетел в Мюнхен.. Люфтганза.. Перекусить дали Ну, такая же тошниловка, как на всех самолетах. После кофе Высыпал в чашку пакетик сахару. . Чашка пластмассовая Размешал. . (*пьет пиво*) Не сладко Попросил у стюардессы еще немного "цукеру". Размешал Не сладко Высыпал еще два пакетика Размешал. Энергично. Мало ли что Никакого эффекта Вот такой у них "цукер" А все пили и причмокивали . За мной две фрау сидели Рта не сомкнули . А голоса пронзительные, звонкие Пока не прислушивался, еще кое-как выносил И вдруг как полоснет по ушам «Mit Blumen auch schon!». Ничего мерзее в жизни не слышал . Забился в клозет А как приземлились, прямо в аэропорту купил билет назад Так что в общей сложности в Германии провел с полетом на Люфтганзе — часа четыре Думаю, даже многовато На всю жизнь хватит

(Пауза)

Эрнест Что же вы, Александра, не пьете?

Александра Я, простите, пива не пью . Вот вино — охотно...

Виктор (*обращается ко всем сразу*) Я сметаюсь Мигом вернуться У меня ж машина (*Александр*) Красное или белое?

Александра Может, не надо? (*Виктор уходит Слышно, как он заводит мотор за окном. Александра листает дорожный документ*) А это ваш сын? (*Эрнест утвердительно машет головой*) Какой симпатичный мальчуган Или надо сказать "мальчуган"?

Эрнест (*переглядываясь с Эдуардом*) Без разницы, Мы пойдем

Александра Виктор говорил, вы здесь не так давно Прижились? Работаете? Служите?

Эрнест Понемногу. (*отпивает несколько глотков*) Работаю. На метеостанции. Я ведь по специальности учитель географии. Но меня здесь к школе на пушечный выстрел не допускают. Такой у вас закон: бывшие заключенные не имеют права учить детей. И никаких оговорок или исключений скажем, для политзаключенных. У вас уже двести лет ни одного политзаключенного, а про эмигрантов не подумали.

Александра Ага, так по вашей милости в Парламенте будет обсуждаться этот параграф Конституции? Я читала.

Эрнест (*перебивает*) А что ж мне, сложа руки сидеть? Обратился к своему депутату. Он в восторге. Новыми глазами, — сказал, — Конституцию увидел.
(*Александра снова рассматривает дорожный документ. Читает вслух.*)

Александра Швеция Швейцария

Эдуард (*перебивает*) Чемпионка мира по напору душа. Там же вода с гор падает. И говорят только шепотом. Чтоб снежной лавины не накликать. Если вообще говорят.

Эрнест (*Выходит в кухню. Приносит две бутылки пива. Откупоривает. Пьет.*) А в Испанию и Португалию, получается, виза нужна?

Эдуард Нет. (*Пьет*) Они позже Конвенцию подписали, так что их еще не внесли. А на кой тебе Португалия? Это же низкорослость.

Александра Приземистость?

Эдуард Низкорослость. Во всем. Даром, что чувствуешь себя великаном. Низкорослые люди, все, даже баскетболисты. Хибарки, церкви — карлицы, апельсиновые деревья. Рыбешки под стать. На низкорослых кривых улицах под низкорослым палящим солнцем у низкорослых печурок сидят низкорослые уродцы и жарят низкорослые сардинки. Только соль крупная, кристаллическая, в человеческую голову. Рыбешек солят густо, так что сон ночью не берет. Все время пьешь ржавую акву.

Александра А океан? Или гоже приземистый?

Эдуард *(делает несколько глотков)* Безбрежный. Огромный Ничей И на берегу сидит, свесив в воду маленькие кри- вые ножки, низкорослый народец

Александра И ничего позитивного, для баланса?

Эдуард Белье стираное быстро сохнет Солнце ведь низенько
Александра *(обращаясь к Эрнесту)* А вы как? Подружились с кем-нибудь из наших местных? У нас ведь даже турки приживаются..

(Эрнест и Эдуард переглядываются Улыбаются)

Эрнест Спасибо туркам Без них мы были бы "низший сорт". . Главный удар они приняли . А к нам здесь скорее... ну, не презрение... как к туркам... а недоумение.

Александра А что вы сами испытываете?

Эрнест *(отпивает несколько глотков)* Да меня трясет, как услышу "откуда вы?" Все наперед знаю. Сперва перепро- сят: "Из Словакии?" Еще раз скажу. "А, из Словении?" Это уже зрудиты. Да нет, — говорю, — из Мусульмании. И хоть бы один сказал "Брешешь! Нет такой страны!" Такие терпимые, что вполне допускают неведомую им страну в центре Европы — "Мусульманию".

Александра А я думала, вы только русских не любите...

Эрнест За эту свою нелюбовь я три года до звонка оттянул. Уже здесь понял: русские, без балды, наши братья, и в этом Вождь прав! Ну, как Каин и Авель. "И был Авель па- стырь овец, а Каин был земледелец" Понимаете, земледе- лец, а не . агент по продаже недвижимого имущества .. И хлеб они вместе ели, и вино пили! *(пьет пиво)* И убил он его, потому что человеком считал .. и сам человеком был!

Александра Так мы, получается, хуже Каина?

Эрнест Я что хочу сказать Вы — не люди . Только, пожалуй- ста, не надо монолог Шейлока читать... Конечно, с виду люди Но только с виду А на самом деле, вы — фанта- ты здесь маху дали — и есть инопланетяне!

Александра И с какой же мы планеты?

Эрнест Да назовите ее хоть "Ино"

Александра Ладно, допустим И что ж с того?

Эрнест А то, что человеческие оценки, критерии к вам не при- ложимы Ну, грубо говоря, вас не стыдно. . убить!

Александра И вы можете это сделать?

Эрнест Что?

Александра Ну, то, что вы сказали

Эрнест Что?

Александра Вы сказали "Вас не стыдно убить".

Эрнест Да Не стыдно

Александра Сказать или сделать?

Эрнест Сказать значит сделать

Александра Так за чем же остановка?

(Эрнест встает из-за стола. Подходит вплотную к Александре Осматривает со всех сторон. Подымает ее волосы к затылку, словно примеряется стричь. Распускает Расстегивает верхнюю пуговичку блузки. Сощутив глаз, указательным пальцем тычет в левую грудь Отходит)

Эрнест Это, конечно, проще простого... Но нельзя же быть таким эгоистом... Вы ведь после ничего не почувствуете. И даже в тот момент.

Александра Что вам до чувств инопланетянки? По-вашему, у меня и чувств нет.

Эрнест На чувства ваши мне и впрямь наплевать . Но контакт с биологически иным существом даже любопытен

(Эрнест подходит к комоду Выдвигает ящик Достает ножницы.)

Александра *(теряет равновесие)* А это еще зачем?

Эрнест Спокойно Сейчас увидите. Точнее, почувствуете.

(Эдуард резко встает из-за стола Придерживает рукой пошатнувшиеся бутылки. Вместе с Эрнестом подходит к Александре Оба словно примеряются. Александра переводит взгляд с одного на другого В руке у Эрнеста по-прежнему ножницы Эдуард крепко хватает Александру за руки и выворачивает их за спину. Эрнест, левой рукой сжав кисть Александры, правой начинает стричь ей ногти Она издает пронзительный вопль и смолкает В тишине слышно, как Эрнест, сопя, стрижет ей ногти. Внезапно открывается дверь и появляется мальчик лет девяти. Он в пижаме. Шурится на свет Эрнест, Эдуард и Александра замирают

Лесик Папа .. папа.. *(трет глаза)* Мне такое страшное приснилось. . Можно я с вами побуду?..

ВООБРАЖАЕМОЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ НАБΟКОВЫМ

Владимир Набоков, вслед за Пушкиным, считал, что читатель, желающий знать о жизни писателя, должен обращаться к написанным писателем книгам, а не копаться и его переписке. Среди обширного литературного наследства Набокова – книга "Твердое мнение", никогда не публиковавшаяся по-русски. Это объемистый том ответов Набокова на вопросы, которые ставились перед ним американскими и английскими журналистами и издателями, работниками радио и телевидения на Западе. Все тексты интервью были тщательно отредактированы и подготовлены к печати самим Набоковым.

Я взял на себя смелость отобрать из этого объемистого тома и перевести на русский те вопросы и ответы Набокова, которые затрагивают "эмигрантскую сторону" Набоковианы и практически неизвестны русскому читателю. Собранные воедино, эти избранные вопросы и ответы из книги "Твердое мнение", стали звучать, как новое интервью с Владимиром Набоковым.

З. Зиник.

ИТАК, ВОПРОС ПЕРВЫЙ: Взять интервью у Вас – процедура довольно торжественная. Вопросы должны быть представлены в письменном виде, ответы тоже готовятся письменно, и все воспроизводится в студии слово за словом. Чем Вы мотивируете эти три абсолютно необходимых условия?

НАБОКОВ. Я думаю как гений, я пишу как выдающийся автор и я разговариваю как ребенок. Мои меканья и беканья по телефону заставляют собеседников на дальнем конце провода переходить с их родного английского на все мыслимые иностранные языки. Когда я пытаюсь развлечь гостей занимательной историей, мне приходится возвращаться к каждому предложению для поправок и вставок. Даже сон, рассказанный жене за завтраком, звучит как черновик первого варианта.

ВОПРОС. На каком языке Вы думаете?

НАБОКОВ. Я не думаю ни на каком языке. Я мыслю образами. Я не думаю, что люди мыслят словами. Они не шевелят губами, размышляя. Это относится лишь к определенному типу безграмотных людей, которые шевелят губами во время чтения. Я мыслю в образах, и лишь время от времени фраза по-русски или по-английски возникает из пены мыслительной волны.

ВОПРОС. Какой из языков, которыми Вы свободно владеете, кажется Вам самым прекрасным?

НАБОКОВ. Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце — по-русски и мое ухо — по-французски.

ВОПРОС. В какой стране Вы мечтали бы поселиться?

НАБОКОВ. В большом комфортабельном отеле.

ВОПРОС. Родившись в России, вы жили и работали на протяжении многих лет в Америке и странах Европы. Ощущаете ли Вы себя гражданином какой-либо конкретной страны? Испытываете ли чувство национальной принадлежности?

НАБОКОВ. Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию. В 1940-м году я решил принять американское гражданство и сделать Америку своим домом. Я приобрел в Америке больше друзей, чем за всю мою жизнь в Европе. Я растол-

стел — главным образом из-за того, что бросил курить и перешел на тянучки. В результате я прибавил в весе на одну треть, следовательно, я на одну треть американец — нажитая мной американская плоть держит меня в тепле и безопасности.

ВОПРОС. Вы прожили в Америке 20 лет и так и не приобрели собственного дома, не осели в одном каком-нибудь месте. По словам Ваших друзей, вы всю жизнь останавливались в меблированных квартирах, в отелях, или снимали дома знакомых, которые уезжали в отпуск или командировку. Что заставляло Вас переселяться с места на место — внутреннее беспокойство или отчужденность?

НАБОКОВ. Что касается почвы, то меня способно удовлетворить лишь окружение, являющееся точной копией моего детства. Мне никогда не удастся идеально соотнести свои воспоминания с реальностью — а тогда к чему безнадежные приближения к идеалу? Но есть и более специфические соображения. Я вырвался за рубежи России с такой бешеной силой, что с тех пор не могу остановиться. Порой я говорю себе: "вот здесь я бы поселился навсегда". И тут же у меня в голове раздается грохот лавины, уносящей прочь сотни уголков на земле, которые я уничтожил бы для себя, решив поселиться в одном приглянувшемся мне захолустье.

ВОПРОС. Не расскажете ли Вы коротко о своих эмигрантских скитаниях в двадцатых-тридцатых годах? Чем Вы зарабатывали на жизнь?

НАБОКОВ. Я давал уроки тенниса тем же людям или знакомым тех же, кого я учил французскому и английскому в двадцатых годах, когда я разъезжал между Кембриджем и Берлином, где мой отец был редактором русской эмигрантской газеты. В Берлине я так или иначе обосновался после смерти отца в 22-ом году. В тридцатых годах меня часто приглашали на авторские чтения, где я читал свою прозу и стихи — вечера, устраивавшиеся эмигрантскими организациями. Эти публичные чтения заставляли меня в Париже, Праге, Брюсселе и Лондоне; в один из благословенных дней 1939 года Алданов, мой коллега по перу и близкий друг, обратился ко мне со следующим пред-

ложением. "Послушайте, следующим летом меня приглашают прочесть лекцию в Калифорнии. Я, однако, не могу принять приглашение. Не замените ли Вы меня?" Так начала заворачиваться третья спираль моей жизни.

ВОПРОС. Преподавая литературу в американских университетах, вы требовали от студентов знания, например, карты Дублина во время изучения "Улисса" Джеймса Джойса; а изучая "Превращение" Франца Кафки, студент должен был знать, что главный герой Грегор Замза превратился в выпуклого жука, а не в плоского таракана; студент должен был зрительно представлять себе прическу Эммы Бовари из романа Флобера. При Вашей любви к деталям, согласны ли Вы с утверждением одного из Ваших критиков, что "Набоков типичный представитель художественного мира, не доверяющего общим идеям"?

НАБОКОВ. В том же торжественном духе один строгий ученый-лепидоптерист критиковал мои работы по классификации бабочек, обвиняя меня в том, что я больше интересуюсь подвидами, чем родами и семействами. В литературе филистеры не любят задумываться над словом, зато с удовольствием пишут об идеях; такие критики не отдают себе отчета в том, что не могут найти общих идей у конкретного писателя просто потому, что конкретные идеи этого писателя еще не стали общими.

ВОПРОС. Достоевский, темы книг которого универсальны и по размаху и по значению, считается одним из величайших авторов мировой литературы. Чем Вы объясняете популярность этого писателя "общих идей", и почему Вы назвали его однажды "дешевым сентименталистом"?

НАБОКОВ. Иностранцы читают Достоевского не понимают двух вещей: во-первых, что не все русские читатели любят Достоевского так же, как его любят все американцы. И во-вторых, большинство русских поклонников Достоевского чтят его прежде всего как мистика, а не как литератора. Достоевский был пророком, быстрым на руку журналистом и расторопным шутком. Я признаю, что некоторые из описанных им сцен, грандиозные фарсы из скандалов и склок необычайно

занимательны. Однако все его чувствительные убийцы и сердобольные проститутки совершенно непереносимы. По крайней мере для меня.

ВОПРОС. Большинство Ваших романов, написанных по-русски, появилось под именем "Сирин". Почему Вы выбрали этот псевдоним?

НАБОКОВ. В наши дни "сирином" называют снежного филина, наводящего страх на грызунов тундры, называют этим прозвищем и красивого ястреба филина. Но в древней русской мифологии Сирин — это птица с пестрыми перьями, с женским лицом и грудью, русский вариант греческой Сирены, божества, заманивающего души моряков. В 20-м году, мечась в поисках псевдонима, я остановился на названии этой легендарной птицы потому что был все еще ослеплен ложным великолепием византийских мифов, которые привлекали молодых поэтов России в блоковскую эру. Между тем, в году 1910-м в России выходило в свет издание русских символистов под названием "Сирин". Я помню ощущение приятной щекотки, когда, роюсь в библиотеке Гарвардского университета, я обнаружил, что значусь в библиотечном каталоге как издатель, впервые опубликовавший Блока, Белого и Брюсова — в возрасте десяти лет, заметьте!

ВОПРОС. В одном из интервью Вы назвали "Петербург" Андрея Белого шедевром прозы двадцатого столетия наряду с "Улиссом" Джеймса Джойса, Кафкой и Прустом. Белый жил в Берлине в то же время, что и Вы: встречались ли Вы с ним?

НАБОКОВ. Однажды, в 21-м или 22-м году я обедал в одном из берлинских ресторанов с двумя знакомыми дамами, оказалось, что я сижу спина в спину с Андреем Белым, который обедал с Алексеем Толстым за соседним столиком. И Толстой, и Белый были в тот период настроены открыто просоветски, готовясь к возвращению в Россию. Белый эмигрант, которым я до сих пор себя считаю в этом узком смысле, не мог себе позволить вступить в разговор с "большевианом". Я был знаком с Алексеем Толстым, но, конечно же, игнорировал и его

ВОПРОС. Каково Ваше политическое кредо?

НАБОКОВ. Портреты главы правительства не должны превышать размеров почтовой марки

ВОПРОС. Не смогли бы Вы определить Ваше отношение к кругам так называемой "белой эмиграции"?

НАБОКОВ. Исторически я сам белый эмигрант, поскольку все те русские, которые, как и моя семья, покинули Россию в первые годы после революции как противники большевистской тирании, были и остаются "белыми", а не "красными" в широком смысле слова. Однако эти же эмигранты раскололись на группировки и политические партии в той же степени, в какой была расколота и вся Россия перед большевистским переворотом. Я не общался ни с "черносотенцами" из белых эмигрантов, ни с "большевизанами", то есть с "розовыми". С другой стороны, у меня есть друзья и среди конституционных монархистов и среди интеллигентов, принадлежащих к социал-революционерам. Мой отец был либералом старой закалки, и я не против, если старорежимным либералом заклеят и меня.

ВОПРОС. Какие требования предъявили бы Вы биографу Вашей жизни и творчества? Гоголь, например, нашел в Вас сходного по духу биографа

НАБОКОВ. Духовное сходство — вещь иллюзорная. Я испытываю отвращение к моралистическим загибам Гоголя, меня подавляет и удивляет его полная бездарность в описании женских характеров, и я с сожалением отношусь к его религиозному рвению. Сам Гоголь ужаснулся бы, читая мои романы, и осудил бы как глубоко порочное то небольшое и довольно поверхностное эссе о нем, которое я произвел на свет четверть века назад. Более удачной я считаю биографию Чернышевского в моем романе "Дар", — Чернышевского, чьи сочинения я нахожу смехотворными, но чья судьба поразила меня гораздо сильнее, чем судьба Гоголя. Что подумал бы об этом сам Чернышевский — другой вопрос, но, в отличие от биографии Гоголя, тут по крайней мере документы и факты в чистом виде на моей стороне. Именно этого я бы и потребовал от моего био-

графа чистые факты, никаких выискиваний символов, никаких сногшибательных умозаключений, ни марксистской брехни, ни фрейдистской гнили.

ВОПРОС. В предисловиях к своим книгам Вы постоянно издеваетесь над доктором Зигмундом Фрейдом, отцом психоанализа.

НАБОКОВ. А с какой стати я должен терпеть присутствие совершенно чужого человека в будуарном алькове моего мозга? Должен заметить, что я не переношу не только его одного, но и всех четырех докторов двадцатого века — доктора Фрейда, доктора Швейцера, доктора Кастро и доктора Живаго.

ВОПРОС. Не могли бы Вы объяснить мотивы, по которым Вы отказались в свое время написать рецензию на "Доктора Живаго" Бориса Пастернака?

НАБОКОВ. В тот период, когда советская власть лицемерно разоблачала и осуждала роман Пастернака, мое выступление в прессе могло лишь усугубить положение беззащитного заложника.

ВОПРОС. Что Вы думаете о "Докторе Живаго" сегодня?

НАБОКОВ. Сейчас, когда западная пресса возвела обескураженного шумихой Пастернака в ранг иконы и святого, я думаю о "Докторе Живаго" то же, что и раньше. Любому интеллигентному русскому читателю с первого взгляда понятно, что книга эта про-большевистская и с исторической точки зрения фальшива, хотя бы потому, что игнорирует либеральную весну революции 17-го года, в то время как большевистский переворот семью месяцами позже воспринимается блаженным доктором с умопомрачительным энтузиазмом — и все это в согласии с партийной линией. Оставив же в стороне политику, я нахожу эту книгу явлением грустным; роман невразумителен, тривиален и мелодраматичен, полон избитых ситуаций, сладострастных адвокатов, невероятных девиц и дешевых совпадений.

ВОПРОС. Однако Вы высокого мнения о поэтическом даре Пастернака?

НАБОКОВ. О да, я аплодировал присуждению Нобелевской премии Борису Пастернаку как великому поэту В "Докторе Живаго", однако, проза не достигает уровня пастернаковской поэзии Я глубоко сочувствую испытаниям, выпавшим на долю Пастернака в условиях полицейского государства. Однако ни вульгарность стиля "Доктора Живаго", ни его философия, искавшая прибежища в тошнотворно-подслащенной наливке под маркой христианства, не смогут обратить мое личное сочувствие к судьбе Пастернака в восхищение им как романистом.

ВОПРОС. Как Вы оцениваете развитие русской литературы за годы советской власти?

НАБОКОВ. В первые годы после большевистской революции, в двадцатых, начале тридцатых годов, сквозь безобразную пошлость советской пропаганды еще пробивался умирающий голос прежней культуры Нашлось несколько писателей, которые поняли, что если прибегать к определенным характерам и сюжетам, можно избежать политических обвинений, другими словами — вам не будут диктовать, что писать и как закончить книгу Два талантливых прозаика, Ильф и Петров, догадались, что если сделать главного героя своего романа бессовестным авантюристом, никто не станет критиковать авторов с политической точки зрения ведь законченного подлеца или сумасшедшего или дегенерата или вообще типа, выброшенного из советской жизни, нельзя обвинить ни в том, что он плохой коммунист, ни в том, что он не стал хорошим коммунистом. Заручившись в этом смысле полной свободой — поскольку ни характеры, ни сюжеты, ни тема не трактовались в принятых политических категориях — такие писатели как Ильф и Петров, Зощенко или Олеша опубликовали первоклассную прозу До начала тридцатых годов им это сходило с рук У поэтов была своя система. Поэты полагали — поначалу совершенно справедливо, — что если они займутся садоводством, то есть "чистой" поэзией, как Илья Сельвинский, — то они смогут уцелеть. Заболоцкий придумал третий путь он стал писать в манере, при которой поэтическое "Я", поэтический герой стихов, якобы, полный имбецил, бубнящий во сне, искажающий слова, каламбуящий как полоумный Это поэты огромного поэтического дара Однако все они один за другим были пойманы с поличным, и мно-

гие исчезли один за другим в безымянных тюрьмах и лагерях. Один из наиболее трагических примеров – судьба поэта Осипа Мандельштама, величайшего из тех, кто пытался выжить под властью Советов, и кого грубые, бездушные и тупоголовые администраторы затравили и довели до смерти в сибирских лагерях. Стихи, которые он продолжал сочинять до тех пор, пока безумие не затмило его светоносный дар – восхитительный образец человеческой мысли в самом высоком и проникновенном ее проявлении. Читая поэзию Мандельштама, укрепляешься в естественном отвращении к чудовищной жестокости советского режима Презрительный смех – хорошее предохранительное средство, однако слабое лекарство для обретения морального спокойствия. И когда я перечитываю стихотворения Мандельштама, я ощущаю позор беспомощности и безнадежный стыд, будучи сам столь свободным – свободно живя, думая, сочиняя и разговаривая в свободной части земного шара. Это те редкие минуты, когда свобода горька.

ВОПРОС. Встречались ли Вы когда-нибудь с советскими гражданами, и если да, то какого рода были эти встречи?

НАБОКОВ. Однажды, в начале тридцатых или в конце двадцатых годов, я, из чистого любопытства, согласился встретиться с агентом большевистской России, который, не покладая сил, пытался уговорить эмигрантских писателей и художников вернуться в родную овчарню. У него была вымышленная фамилия, что-то вроде Тарасова, и он был автором короткой новеллы под названием "Шоколад", и мне показалось, что с ним будет любопытно пообщаться. Я спросил его, позволят ли мне писать свободно и смогу ли я покинуть Россию, если мне там не понравится. Тарасов ответил, что я буду настолько занят, не успевая восхищаться всем происходящим вокруг, что у меня просто не будет времени мечтать о поездках за границу. Мне предоставят абсолютную свободу, сказал Тарасов, в выборе одной из многих тем, которыми Советская Россия одаряет писателей щедрой рукой – колхозы, например, заводы и фабрики, сады в Задостане – короче, навалом восхитительных сюжетов. Я сказал, что сельское хозяйство и т.д. вызывает у меня скуку и мой несчастный искуситель быстро сдался. Ему больше повезло с композитором Сергеем Прокофьевым.

ВОПРОС. Хотели бы Вы когда-нибудь побывать в России? Просто поглядеть?

НАБОКОВ. Я не хотел бы запятнать образы, хранящиеся в моей памяти

ВОПРОС. Что значило для Вас изгнание и пребывание вне России?

НАБОКОВ. В первое десятилетие нашего убывающего столетия, во время поездок с родителями в Европу, я воображал себя, в сонном забытии, печальным изгнанником, который под тенью эвкалиптов экзотического курорта мечтает о далекой, сумрачной и — хотелось бы сказать — неутолимой России. Ленин и его подручные очень мило позаботились о том, чтобы эта фантазия стала реальностью.

Художник, чувствующий себя вечным изгнанником, даже если он никогда не покидал родные пенаты, хорошо известный герой многих биографий, с которым ощущаю некоторое сходство. Однако в прямом смысле изгнание означает для художника прежде всего одно — запрещение его творчества на родине. Все мои книги, начиная с той, которую я написал полвека назад, сидя на проеденной молью кушетке в немецком пансионе, запрещены в стране моего рождения. Это потеря для России — не для меня.

ВОПРОС. Что Вы делаете для того, чтобы успешно переносить бремя жизни?

НАБОКОВ. Бреюсь каждое утро перед тем, как принять ванну и позавтракать, чтобы в любую минуту быть готовым к дальним перелетам



Б. Гройс

ПОЛИТИКА КАК ИСКУССТВО

В своей книге "Божественная левая"* Бодрийар пишет о страхе левых перед властью — причем в понятие "левые" он включает как социалистов, так и коммунистов. Мне трудно судить о том, в какой мере описания Бодрийара соответствуют политической ситуации во Франции. Однако нет сомнения, что коммунисты Франции в большей степени ориентируются на советский коммунизм, что советская коммунистическая партия служит — при всех тактических различиях — образцом для всего коммунистического движения. Советскую же коммунистическую партию трудно упрекнуть в страхе перед политической властью

Граница между социалистами и коммунистами проходит как раз там, где встает вопрос о политической власти: для коммунистов образовать правительство в рамках западной демократической системы еще не означает взять власть в свои руки. Подлинная власть для коммунистов есть власть ликвидировать эту систему. Бодрийар оплакивает классическое искусство политики, т. е. искусство завоевания и удержания власти в условиях борьбы интересов, не регулируемой никакими социальными институтами. Действительно социалисты постоянно стремятся укрепить те аспекты существующего в западных обще-

* J. Baudrillard «La gauche divine», Grasset, Paris, 1985

ствах порядка, которые ограничивают эту борьбу — в пределах социалисты хотели бы исключить ее вообще. Но постольку, поскольку коммунисты ставят себе, напротив того, цель полной ликвидации существующего порядка, они возвращают общество в ситуацию борьбы всех против всех и, таким образом, из социального в смысле Бодрийара обратно в политическое. Ситуация эта сохраняется и после завоевания коммунистами власти советская коммунистическая партия определяет себя в своих официальных документах как "руководящая сила советского общества" и решительно отделяет себя от институализированной власти, т.е. "советов депутатов трудящихся", правительства и т.д. Благодаря этому, коммунистическая партия предотвращает ту угрозу растворения политического в системе управления, о которой предупреждает Бодрийар. Коммунисты мыслят в терминах противоборства и баланса сил, а не в терминах социальности и репрезентации, как это делает социалистическая левая. Кстати, известно восхищение Ленина, Сталина и других советских политиков фигурами Макиавелли, Талейрана, Фуше, Бисмарка, Клаузевица и т.д., т.е. типичными репрезентантами политического.

Предпочтение, которое в первой части своей книги Бодрийар высказывает политическому в противовес социальному и свободному денежному обращению — в противовес планируемой экономике марксистского типа, несомненно, связано с переориентацией современной и, в первую очередь, французской мысли, с "модернистской" на "постмодернистскую" парадигму — переориентацией, в которой книги самого Бодрийара сыграли большую роль. Суть этой переориентации можно выразить кратко следующим образом. Модернистское мышление отреагировало на кризис классического рационального субъекта — продукта эпохи Просвещения — посредством закрепления этого субъекта в некотором объективно, т.е. научно фиксированном порядке мира. Если Просвещение постулировало единое пространство смысла, доступное каждому мыслящему, то, начиная с эпохи романтизма, пространство это распадается — зато распад этот компенсируется усмотрением места индивидуума в единстве природы, истории, социума и т.д. Субъект определяется через эпоху, нацию, класс, социальную группу, к которым он принадлежит, через свою семейную историю, эротическую жизнь, физическое состояние, воспитание

и т.п. Или, иначе говоря, текст определяется через контекст, речь через язык: классический структурализм представляет собой завершение этого модернистского проекта вернуть мышлению субъекта определенность смысла через фиксацию его места в системе.

Модернистское мышление предполагает, таким образом, конечность и обозримость системы, в которую оно помещает индивидуальное сознание неопределенность текста, возникающая от того, что он перестает быть выражением содержания, "изнутри" доступного для любого читателя, компенсируется конечностью контекста, в который этот текст помещается. Переход к постмодернистской парадигме представляет собой переход от конечного к бесконечному контексту рассмотрения при полном сохранении всех остальных исходных предпосылок анализа. В результате этого перехода, однако, эффект от соотнесения текста с контекстом оказывается прямо противоположным модернистскому: вместо стабилизации смысла наступает его окончательная ликвидация. Так стабилизация смысла текста в процессе чтения сменяется бесконечностью прочтений (Барт), стабилизация знака в смысловоразличающей системе языка — его дестабилизацией в бесконечной системе дифференций (Деррида), стабилизация индивидуума в системе желаний — его дестабилизацией в бесконечности желания (Делез), поиск генезиса индивидуального опыта — в бесконечный процесс интерпретации (Лакан) и, наконец, стабилизация индивидуума в системе политической экономии и социальных институтов — его преодолением в "экстазе" бесконечных метаморфоз политики и денежных отношений у Бодрийара.

Переход от конечного к бесконечному контексту рассмотрения кажется весьма значительным по своим последствиям и порождает новые блестящие теории и интуиции. Однако переход этот сохраняет неизменными две основных характеристики мышления предыдущей эпохи: рассмотрение индивидуума в контексте социума и внешний, объективный, научно-институализированный характер этого рассмотрения. Социум, правда, рассматривается здесь не как социум коллектива, в котором каждый выступает в определенной роли, четко отличной от роли других, а как социум массы. социум бесконечных различий, в котором индивидуум окончательно теряет себя, не будучи в состоянии ни отличить себя от других, ни слиться с ними и, та-

ким образом, оказывается на бесконечной дистанции от себя самого. Эта бесконечность различий, приводящая к бесконечности внутреннего различения субъекта от себя самого — знаменитой дифференциации — порождает бесконечный пафос, бесконечный экстаз постмодернистских текстов, так контрастирующий со сдержанным "конечным" пафосом модернизма: мужественность модернизма против женственности постмодернизма, не находящей себе исхода в завершающем акте постижения смысла.

При всем своем пафосе постмодернизм, однако, по существу, глубоко депрессивен. Поскольку институализированный постмодернистский дискурс основывается не на демонстрации смысла, а на демонстрации бессмыслицы — он действует не убеждением, а разубуждением, и противостоит морали не как аморальность, а как деморализация. И в этом постмодернизм выступает не как радикальный противник, а как союзник современных политических режимов, — что, впрочем, говорится ему вовсе не в укор: со времени Маркса философы то и дело пытались изменить мир, так что пришло время попытаться его понять. Но важно все же, что экстатическая ирония постмодернистских текстов на деле лишь литературно обрабатывает и дублирует иронию современных массовых обществ. Институализированный постмодернистский дискурс есть по существу официальная, а вовсе не оппозиционная, идеология современной политической власти.

Особенно ясным это становится, если вновь вернуться к опыту советской идеологии. В советской официальной философии не принято провозглашать смену философских доктрин и парадигм, и поэтому у постороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что советская идеология застыла в неподвижности. Впечатление это абсолютно ложно — оно само является частью советского официального мифа о верности диамата и его теории "принципам марксизма-ленинизма" в их неизменной форме. На деле же теории эти претерпели значительные изменения, о которых здесь подробно рассказывать не место. Достаточно только сказать, что современное советское прочтение диамата не столь уж отличается по существу от того, что на Западе выступает под именем постструктурализма. А именно советский диамат — и в этом его радикальное отличие от диалектики гегелевского типа — располагает различные формы

сознания не в истории, т.е. не во времени, а в некотором космосе, напоминающем гностический, т.е. в пространстве. Диалектические противоречия объявляются "объективными", т.е. противоречиями между различными сферами космической жизни — именно поэтому они и не могут быть сняты индивидуальным сознанием во времени, что и делает советскую диалектику "материалистической". Советская идеологическая дискуссия всегда принимает поэтому характер указания мыслящему на односторонность его мышления и его детерминированность бесконечностью разнообразных форм космической жизни. Таким образом возникает возможность поставить под сомнение истинность любого мышления без необходимости доказывать его ложность — что, собственно, и составляет основное интеллектуальное достижение постструктуралистского анализа. Любимой для советских идеологов является фигура сократического скепсиса, выступающая, как известно, основой для платоновской концепции государства, являющейся в большей мере предвосхищением современных тоталитарных государств.

Отсылка к бесконечности дифференций порабощает, таким образом, индивидуума институтам еще более радикально, нежели отсылка к конечному смыслу, ибо представляет собой путь к самому себе через бесконечность институализированного знания, бесконечность социума, бесконечность власти и бесконечность человеческих масс. Социум, описываемый постструктуралистами, и, в частности, Бодрийаром, с одной стороны, и советскими идеологами, с другой стороны, разумеется куда реалистичнее, нежели морализованный социум традиционной левой — в этом нет никакого сомнения. Но тот экстаз, который это описание вызывает, продолжает быть экстазом власти, экстазом начальника управления, получившего в свое распоряжение бесконечное число сотрудников с бесконечным разнообразием функций, что препятствует всякой непосредственной координации между ними. Это то, что в русской литературе называлось "административный восторг" — но только распространенный на весь космос. Переход к постмодернизму в немалой степени был стимулирован тем соображением, что в основе модернистского перехода от текста к контексту лежала все та же просвещенческая "мифологическая" претензия сознания на рациональное схватывание структуры мира. Однако эта претензия сохраняется, по существу, и в пост-

модернизме — с тем только различием, что она становится бесконечной и выступает с бесконечным пафосом.

В своей книге Бодрийяр идет, впрочем, дальше от бесконечности дифференций — к индифферентности. Феномен индифферентности возникает, по Бодрийяру, вследствие утраты современным человеком ощущения реальности мира, в результате чего все сущее начинает восприниматься как артефакт, как симулякр. Это переживание искусственности несомненно связано с вышеописанным переходом от конечного контекста к бесконечному. Переживание реальности есть в основе своей переживание непосредственного контакта с миром непосредственного присутствия человека в мире, которое гарантирует реальность как мира, так и человека. Реальность есть просвещенческая идея и именно от Просвещения идет культ всего естественного.

Но если все в мире и сам человек отделены от самих себя бесконечной дифференцией, если смысл раскрывается только в системе с бесконечным числом элементов, то это и означает невозможность непосредственного доступа ни к какому объекту и ни к какому смыслу, т.е. полную утрату реальности. Бесконечная система дифференций есть, так сказать, последнее сущее, которое сознание стремится охватить в состоянии экстаза. Но экстаз этот скоро обнаруживает свою беспочвенность, свою искусственность и сменяется безразличием, индифферентностью — до всего оказывается одно и то же расстояние, равное бесконечности.

Искусственность, индифферентность и деморализация сменяют, таким образом, классическую просвещенческую триаду — реальность, разум, мораль. Индифферентность не означает здесь нахождения некоего общего знаменателя для всего сущего, противостоящего системе бесконечных дифференций. Отсюда, видимо, возникают у самого Бодрийяра трудности в интерпретации индифферентности, в которых он сознается в одном из своих интервью.* Бодрийяр продолжает рассматривать искусственность и индифферентность в перспективе субъект-объектного отношения и таким образом ослабляет радикализм собственной позиции. Искусственность всякого смысла лежит глубже различения субъекта и объекта, созна-

* Das Schweigen der Massen als Suspens Frankfurterschau, 47, 1936

ния и подсознания и т.д.: все эти образования и все отношения между ними получают характер артефакта. Бодрийар пытается, в частности, интерпретировать индифферентность как случайность, как господство статистического, т.е. отнести ее полностью к области объективного, в котором она получает характер искушения, соблазна. Но случайность как таковая есть не более чем отношение конечности сознания к бесконечности объектных дифференций и в этом смысле не достигает того уровня, на котором возникает феномен индифферентности, отличающий бесконечным образом сознание от себя самого не в меньшей степени, нежели объект от себя самого. Индифферентность есть не столько инертность, материальность человеческих масс, сколько соответствующее ей состояние сознания, которому в бесконечности этих масс открывается искусственность, фиктивность мира. И здесь сознание покидает интерес к этим массам и управляющим ими институтам — наступает индифферентность ко всяким соблазнам со стороны объекта, окончательно признанного фиктивным, в то время как "молчание" и "статистика", на которые ссылается Бодрийар, все еще сохраняют черты реальности. В индифферентности сознание покидает сферу институционального контроля.

Искусственности мира соответствует понимание человека в мире как художника. К этому пониманию приходит де факто и сам Бодрийар, когда описывает в своей книге театрализацию политической и социальной жизни. Такие современные философы науки как Нельсон Гудмен или Пол Файерабенд интерпретируют современную науку как искусство. Бодрийар, наряду с другими современными французскими теоретиками, еще более радикален, утверждая искусственность всего жизненного мира человека, и, в конечном счете, и искусственность самого человека постольку, поскольку человек принадлежит миру. В результате каждый человек оказывается в роли художника поневоле. Если прежде искусство понималось как высшее служение и как исключительное призвание, как избранничество, то в наше время роль художника навязывается каждому как рок, как единственное возможное отношение к миру, ставшему фикцией, искусством. Человек оказывается перед необходимостью оперировать с миром и с собой как с произведением искусства. В этом смысле вполне в духе времени выступает современный экопацифизм, стремящийся превратить весь

мир в музей и все сущее, в том числе и всех людей, — в экспонаты, которые нельзя загрязнять, трогать руками, бросать в них бомбы, шуметь и т.д.

Разумеется, это музейное отношение к искусству есть лишь еще одно извращение нашего времени, подлинным художникам как раз вовсе не свойственное и подлинному искусству глубоко враждебное. Подлинный художник сочетает экстаз и индифферентность в своем отношении к искусству. Творчество живет определенным ритмом созидания и разрушения. Художник знает в одно и то же время и о своей оригинальности, отличающей его от других, и о своем внутреннем родстве со всеми другими художниками. Музей поработает художника — он ставит его перед необходимостью делать что-то новое, еще нигде не выставленное и тем самым отнимает у него внутреннюю свободу. Но не в меньшей степени губит искусство и тотальное разрушение традиции, гибель всякой приватности. Индифферентность есть еще и приватность, есть право на приватность.

Поэтому идея искусственности и искусства противостоит всякой утопии, стремящейся к естественному и непосредственному. Просвещенческая утопия выступает, как известно, в двух качествах: утопия сознания и утопия подсознательного, утопия тела. Утопия сознания апеллирует к единству человеческого разума, которому доступно непосредственное созерцание и схватывание смысла и непосредственное постижение моральных ориентиров поведения. Эта утопия в наше время уже полностью скомпрометировала себя. Но утопия подсознания еще сохраняет для некоторых свою привлекательность. Утопия эта вдохновляется призывом к полной ликвидации всякой приватной сферы, к экстатическому смешению тел, до предела сексуализированных и, таким образом, лишенных своей замкнутости, к экстатическому слиянию в едином потоке жизни. Этот эротический коммунизм, этот миф об обобществлении тел представляет собой радикализированный вариант коммунизма социального, т.е. мифа об обобществлении имуществ. Поэтому он еще более репрессивен. с поднятым пальцем читает он мораль каждому, кто — хотя бы и просто по лени — не готов совокупляться с кем и как попало. Эта попытка соединить задним числом то, что было разъединено Просвещением, забывает о том, что понимание другого как другого тела исхо-

дит из определенной концепции времени и пространства, которая сама по себе лишена всякой реальности и является делом представления. В результате соединяются не тела, а лишь представления о телах, артефакты, симулякры тел — и происходит это неизбежно под надзором идеологической полиции.

Знание о мире как об искусственном глубже, чем знание о мире как об естественном и имеет более давнюю традицию. Искусственность — это то же самое, что и сотворенность, индифферентность — то же, что и атараксия и аскеза, и деморализованность — то же, что жизнь по ту сторону морали и аморального, т.е. "по ту сторону добра и зла". Человеку, знающему о том, что он художник, не надо соединяться ни с кем и ни с чем, ибо он уже с самого начала соединен с источником всего искусственного, всего сотворенного. Художник, когда он настаивает на своем праве на приватность, как раз в этот самый момент и оказывается самым радикальным образом в пространстве индифферентности, соединяющем его с другими, и поэтому всякие попытки внешнего соединения в представлении, напротив, лишь отъединяют его от этой изначальной общности.

Сказанное заставляет по-новому рассмотреть проблему прав человека, к которым Бодрийар, судя по его ироническим замечаниям, не испытывает особой симпатии. Так, Бодрийар в своей книге с откровенной неприязнью пишет о процессе десталинизации и иронизирует по поводу попыток Альтюссера распространить этот процесс также на французскую коммунистическую партию. По-видимому, Бодрийару в какой-то мере даже импонирует фигура Сталина, возможно, воплощающая в себе для него утраченное "политическое", почти ренессансный тип эгоистического и пронизательного тирана.

На деле фигура Сталина является еще одним артефактом, фантомом массового сознания. От образа Сталина нам не осталось ни одной индивидуальной черты, ни одного поступка, в котором выражались бы страсть или умысел. И дело тут вовсе не в нехватке документов или свидетельств, но в стертости самой личности. Не зря еще Ленин сказал. "Важнейшим искусством для нас является кино". Фигура Сталина и была таким экраном, на который проектировались, накладываясь один на другой, причудливые социальные фантазмы. Сталин был фигурой репрезентации в самом чистом виде, торжеством демократии. Фашизм или советский коммунизм являются не в

меньшей степени системами репрезентативной власти, нежели западные репрезентативные демократии. Все эти режимы видят свою легитимацию в своей репрезентативности, в своей способности представлять класс, нацию или население, равно как и современная культура видит свою легитимацию в своей способности — в отличие от политиков — репрезентировать не сознание, а подсознание масс.

Разумеется, Бодрийяр прав в своем ироническом отношении к правам человека в той мере, в которой речь идет о репрезентации каждым "зрелым гражданином" самого себя в качестве "критически мыслящей личности", отстаивающей свои интересы — такая личность есть лишь маленький Сталин или Гитлер, озабоченный расширением своего социального жизненного пространства. Но права человека можно понимать и иначе: как права художника в человеке. Такое понимание прав человека утверждает не общественную свободу, а свободу от общества — во имя более фундаментальной общности, достигаемой в приватности и индифферентности.

Именно такое понимание прав человека лежит в основе советского диссидентского движения, которое не может себя артикулировать в западных критериях правого и левого. Тоталитарное господство, против которого выступают диссиденты, есть прежде всего господство социополитического как такового — а не господство того или иного конкретного политического учения. На Западе это господство социополитического осуществляется как раз посредством подчинения всей интеллектуальной жизни дихотомии правого и левого, парализующей всякую духовную инициативу и сводящей роль интеллектуала к роли поставщика свежей аргументации для давно известных всем позиций, вызывающих, как справедливо пишет Бодрийяр, всеобщую индифферентность.

Отношение одного художника к другому — это отношение отрицания, знающего о своей преемственности, и самоутверждения, приводящего в конце концов к внутренней индифферентности с другим. Таким же было отношение друг к другу героев древности или рыцарей эпохи Средневековья. В эти эпохи не избегали конфликтов, но конфликты и борьба имели свои пределы — в те времена не знали универсальных дефиниций "человеческого", но умели узнавать в другом то же начало, которое одушевляло и узнающего — и как раз в предельном на-

пряжении борьбы. В наше идеологизированное время панический страх всякого конфликта сопутствует стремлению уничтожить другого тотально, без остатка. Желание это тесно связано с идеей репрезентации — другой делает внутреннее единство репрезентирующего и репрезентируемого, являющееся основой всякой претензии на власть, сомнительным и, в конечном счете, разрушает это единство.

Тотальная претензия на репрезентацию привела к террору эпохи Французской революции, ставшему прообразом для всей последующей истории террора и представляющему собой ту национальную травму, из которой возникла современная французская философия. Но за претензией на репрезентацию следует видеть реальность политического, вовсе не исчезнувшего ни в Европе, ни за ее пределами.

Политика традиционно понималась как разновидность искусства. политик живет в сфере фиктивного. Модернистское мышление делает политику невозможной именно потому, что оно провозглашает подчинение искусства политике, политическую ангажированность искусства. Когда субъект как таковой начинает определяться через свое социополитическое окружение, а текст — через свой социополитический контекст, субъект политического действия утрачивает свою автономию он начинает определяться политически вместо того, чтобы определить политику. Политическое искусство Запада традиционно было направлено на установление баланса политических сил, гармонии политических сил — и искусство это неизбежно следовало общим художественным модам своего времени. Именно этому унаследованному или восстановленному балансу политических сил, а вовсе не совершенству своих репрезентативных институтов, лишь воспроизводящих, репрезентирующих этот баланс, обязан Запад своим относительным процветанием. Отсюда и преимущество правых, о котором пишет Бодрийар правые знают об искусственном, художественном характере того, что социалисты принимают за реальность.

Однако коммунисты не в меньшей степени знают о фиктивности своей системы официальные институты социалистических стран репрезентируют как реальность то, что партия создала как фикцию, как произведение искусства. Партия выступает на востоке Европы как демиург всей наличной реальности — поэтому реальность вызывает в области ее господства ту

же смесь индифферентности и эстетической заинтересованности в смене вкусов правящей верхушки, как это наблюдается и в западных обществах — за тем только исключением, что партия лишь за собой одной оставляет право быть художником все же остальные должны подчинять искусство политике, или, иначе говоря, копировать свыше установленную художественную манеру. Поэтому не случайно, что именно художник является символической фигурой политической борьбы на Востоке: освобождение художника в человеке означает также возвращение искусства политике. Всю эту проблематику Бодрийар склонен, к сожалению, игнорировать, растворяя коммунизм в фиктивном единстве "левых" сил и, тем самым, воспроизводя на практике ту самую дихотомию правого и левого, доказательству фиктивности которой посвящена его книга.



НОВИНКА!

НОВИНКА!

Исторический альманах

МИНУВШЕЕ

Публикации материалов по русскому прошлому XIX-XX вв..
история науки и искусства, военной и политической мысли,
общественных движений и церковных преобразований,
судьбы отдельных семей и крупных организаций .

Выпуск первый

Содержит: воспоминания одного из заместителей министра иностранных дел царской России о захвате большевиками внешне-политического ведомства в 1917 г. и о жизни чиновничества после Октября, воспоминания и малоизвестные материалы об А.В. Колчаке, исследования о жизни забайкальского казачества в 1900-1950-е гг. и о демографической переписи населения в 1937 г.; неизвестные письма В.Г. Короленко, о. Павла Флоренского, В.П. Свентицкого; материалы по истории литературных организаций в 1920-40 гг.; неизданные воспоминания Н.Я. Мандельштам; свидетельства о судьбе русского офицества в 30-е годы и множество других материалов. Все публикации снабжены обширными комментариями

Цена выпуска 145 фр. франков

Альманах продается в издательстве: Atheneum
10 bis, rue Duhesme 75018 Paris и во всех русских магазинах.

Дм. Бобышев

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ И ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

С таким именем — жить бы ему в Казани или Уфе, — горя б не знал, считался б национальным кадром, ездил бы на республиканские смотры народного творчества, а он, вместо этого, родился в Москве. Попытался спрятаться от судьбы в науку. Но то ли химия его не приняла, то ли он сам от нее отрешился, только стал он писать русские стихи и, как водится, объединился с другими, кто пишет, — ведь новичку без среды — невозможно.

Именно тогда, в конце 60-х, начале 70-х, в Москве объявилась неофициальная группа стихотворцев, интригуяще себя величавших "смогами". Это была реакция на лимонадную поэзию 60-х, как сказал кто-то. А "СМОГ" означало: сила, молодость, оригинальность, гений, хотя английские ассоциации тянули при этом на автомобильный чад и туман. Что тоже годилось...

О поэтах немедленно появились анекдоты такого пошиба. "Украинская ночь. Луна ярко освещает мазанку вдовы. Тихо. Вдруг распахивается дверь, выбегает оттуда голый смог и вопит на все село: — Смог! Смог!"

После анекдота подразумевалась усмешка: новички, что они могут, чего б не видела украинская вдова?

Десятилетие спустя оказалось: все же они кое-что смогли, причем, именно в этом жанре, хотя Кенжеев и тут присоединился позже. Ну, не украинских, конечно, но виннипегских

вдов поудивляли: вставший в перископическую позу Лимонов нашел, например, кто сделал ему политическое "бобо" — это, оказывается, академик Сахаров, светлый мученик! А тут еще и Цветков проклял — кого? — Анну всея Руси! И заскользили оба из поэзии, кто — в Европу, кто — в радиовещание.

Но, конечно, не к этому "литературному процессу" присоединился Кенжеев, а просто приземлился в Канаде и тут же выпустил в "Ардисе" книгу под названием "Избранная лирика 1970-1981". Казалось бы, скромно. Но и не очень, поскольку такое заглавие тянет, по крайней мере, на антологию... А следовательно, он, Бахыт, претендует на избранную, если не единственную, роль в поэзии 70-х.

Ну, что ж, откроем книгу, посмотрим: а вдруг?

И, прежде всего, сличим наш общий опыт 70-х годов с этим лирическим десятилетием из заголовка. Вернее даже — двенадцатилетием. Да, это время запомнилось многим из нас и духотой брежневского холостого хода, и планомерным истреблением инакомыслия, и, едва ли не в первую очередь, — эмиграцией Приятием или неприятием. Гаданиями и решениями Ожиданием. И для тех, кто подался "за бугор", и, в меньшей степени, для тех, кто оставался на месте, как Бахыт, до самого занавеса. Даже для тех, кто совсем остался. Кто мог знать, когда еще распахнется такая нечаянная форточка в Мир! А Де-тант. Долго ли он протянет?

Вопрос "Ехать — не ехать?" вполне выразил эту краткую эпоху

Впрочем, я не навязываю своих тем лирическому поэту, пусть он сам расставляет акценты. Я лишь угадываю. И, наверное, вправде был рецензент "Континента" В. Б. (наверняка, Бетаки) увидеть свое "Кенжеев — поэт одиночества". Что ж, есть у него стихи, в которых женский образ вырванно отсутствует, зияя в пейзаже..

Но есть и другие, в которых она ощутима, его "подруга, дышащая рядом".

Полуприсутствует она и в воспоминаниях на местах, где проходили их былые встречи. Да, читатель, он рассказывает все, — таково бесстыжее ремесло поэтов!

Эта пара, ах, эта пара
наконец-то в комнате на двоих

Чистосердечный трюизм письма не позволяет увидеть в ней личность, но облик этой прекрасной девы или дамы скользит еще не раз по многим элегиям сборника:

Губы нежные полураскрыты.

Лирические перипетии здесь всегда многослойны, и если это — любовная песня свидания, то с неизменным припевом разлуки, и наоборот. И так — не одиночество, а скорее — расставание, но еще скорее и пуше — ожидание, предчувствие новой встречи.

Все эти сердечные сложности, однако, не прибавили бы ничего нового к известному сюжету о Ромео и Джульетте, если бы не еще один поворот темы...

Но вернемся к нему после двух немаловажных отступлений, обычно мешающих любви — друзья и выпивка. Нет, лучше — выпивка и друзья. Эти два элемента на фоне собственной грусти и российского похолодания могут, в принципе, рождать шедевры, — такие, как пушкинское "19 октября".

Печален я со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку...

Я пью один...

Я пью один, вотще воображенье
Вокруг товарищей зовет...

Если бы сам виолончельный звук этой элегии считался цитатой, то многие бы стихи Бахыта состояли из кавычек... Но он не пользуется пунктуацией. Впрочем, пользуется, но не везде, — лишь там, где это выгодно, конечно

А о выпивке сказано у него, пожалуй, не меньше, чем у Омара Хайама. Первое слово Пролога и всей книги — "хмельной". И через все опрокинутые бутылки с вином, водкой, самогоном и даже спиртом,

А спирт — он на вкус нехорош
Но дешево мне достается,

прокатывается эта российская тема до последней страницы сборника, до последнего глотка.

Отхлебнешь — и не капли тоски.

Обманывает, конечно. Тоска, да еще какая – погибельная! – идет за этими выпиванцами в соседних же строфах:

Не пей в одиночку, Бахыт,
Сопьешься, заставят лечиться

А если не в одиночку, а с напарниками смогами и прочими? . Но нет, это – совсем не пушкинское упоение, а лишь какое-то невеселое соперничество. Вот, полюбуйтесь-ка на его стихи-посвящения товарищам по перу и хмельному застолью

Умешь ли в сердце поэта
вобрать пятилетки размах?

Кто это написал, и о ком? Маяковский 20-х годов об Асееве? Пастернак 30-х о себе самом? Нет – Кенжеев о Цветковой

Довольно странный оттенок есть и в посвящении другому "нетрезвому поэту" – Сопровскому, чье имя названо "смертным". Что это? Если – ревнивое подсознание, то оно совершенно пробалтывается в стихотворении о Кублановском, которое заканчивается буквально следующими строчками

В гробу дубовом, в келье каменной
Дыши спокойно . Бог с тобой

Ни больше, ни меньше

Однако, выпивка, друзья, даже поэзия, все гибельно изживает себя, все твердит "Исчезнем Без следа", при том, что сам Бахыт хотел бы обновления "Я ринусь во время, в зубчатый пролом", "Нырнуть бы в праздничную прорубь, перекроить бы жизнь свою", " расставим фигуры по новой", – вот осколки, характерные для этого порыва "из-". Порыва – туда, где "жизнь мерещится иная, могучая, как дирижерский взмах"

Vita nuova!

Здесь пора вернуться к образу бахытовской Джульетты, ибо это и есть – обещанный поворот темы. Она преображается, и рядом с ней вырастает "мрачный странник в медленном плаще". Дрянной набор эпитетов (кроме "медленного"), но тем скорее узнаешь это – Данте! Так пусть он и изречет свое сло-

во, поскольку сам Бахыт никак не именуется возлюбленную: "...Небо света приближалось к исходной точке, когда перед моими очами появилась впервые исполненная славы дама, царящая в моих помыслах, которую многие, — не зная, как ее зовут, — именовали Беатриче".

Дарующая блаженство, а также — путеводительница к совершенным селениям, жизни незаходящей, воистину новой, — вот кто она.

Похоже, что фаллический Данте для того только и появился, чтобы возвестить о преобразении женского образа и тут же исчезнуть. Но прежде исчезновения он сам на минуту становится Эдгаром По. А Джульетта-Беатриче, так и не превратившись в Линор, обращается в петрарковскую Лауру

Дальше мы сможем сами именовать эту прекрасную деву обновительницу жизни, — уже точно зная, как ее зовут: Муза эмиграции. Ведь, согласимся, она-таки вывезла поэта к "жизни новой".

Это объясняет многое в лирических загадках и некоторой сумбурности сборника. Оказывается, наш Ромео не только сохнет по девушке из враждебного семейства (читай: страны), но и мучительно колеблется, обдумывая все тот же вопрос эпохи: "Ехать — не ехать?" И, как свидание и разлука в амуресках Кенжеева, любой ответ здесь имеет свой мрачноватый припев непоправимости.

Потому и ворон, что nevermore

А тем временем, пока стихи, летящие легко и лихо, предшествуют этому драматическому решению, сам Бахыт уже давно его принял. Но — за пределами сборника

Дети Детанта! Какова их жизнь теперь, у канадских Капулетти?

Он и не скрывает в газетных интервью: трудно. Но так повелось, что поэты сами, сознательно или интуитивно, напарываются на болевые обстоятельства. только эдак можно уловить и передать в словах ту божественную вибрацию страдания и счастья, любви, муки и музыки, которая делает чернильные каракули на клочке бумаги — поэзией

*Ноябрь 1985
Урбана, Иллинойс*



ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК В. АКСЕНОВ ВОШЕЛ В "ЛИГУ СОПОРТЕРОВ" "СИНТАКСИСА" И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

В мае 1985 года А Синявский и М Розанова, пребывая в Вашингтоне и отужинав там с И Левиным, А Цветковым и А Батчаном с женой, отправились в кафе "Рондо" на встречу с писателем В Аксеновым, чтобы задать ему как члену редколлегии "Континента" несколько вопросов

Писатель Аксенов томно промурлыкал, что он уже сегодня давал интервью и даже не одно, но "Синтаксис" проявил настойчивость и магнитофон был включен

Воспроизводим запись полностью и во всех деталях

Розанова: Итак .

Аксенов: Ну что вы в самом деле... Целый день допросы . Давайте лучше, как Толя говорит, о бабах поговорим .

Розанова. Кто говорит?

Аксенов. Толик . Гладилин...

Синявский. Это у него поговорка такая

Аксенов. Я даже для него собираю вырезки из "Плеяды" баб, которых он не видел года четыре

Синявский. Вот в 42 номере "Континента" сказано, что агенты КГБ, там по-видимому имеются в виду два человека – я и Михайло Михайлов – воздействуют вот значит на иностранных членов и вот Сол Беллоу ушел из редколлегии .

Аксенов. Да? Я не заметил... Я не читал этого.

Розанова. Вася, а вы читаете журнал, членом редколлегии которого вы являетесь?

Аксенов. Ну нуу эээ целиком не читаю . Прозу только читаю . Колонку редактора очень мало читаю

Розанова. Все-таки журнал определяется не только прозой

Аксенов. Вот видите, вы меня агитируете против журнала "Континент"

Синявский. А мы вас не агитируем..

Розанова. Мы вас просто спрашиваем. Защищайтесь, защищайте свое место в редколлегии..

Аксенов. Да я уже сказал уже, что вот, что мало читаю, что мало слежу за этим журналом. Меня в свое время уже выводили из редколлегии одного журнала за пренебрежение своими обязанностями, наверное и из этого выведут тоже в конце концов. Времени не хватает честно говоря. Этот журнал так далеко, он правда на другом континенте от нас. У нас здесь свои заботы . Правда, Леша?

Цветков. Действительно

Аксенов. У нас тут свои. Мы как-то отрываемся от старого мира все больше. У нас тут организация ВААП организовывается новая, писательская...

Розанова. Видите ли в журнале "Континент" помещается целый ряд материалов от имени редколлегии, то есть и от вашего тоже имени . Мне казалось что такие материалы вы должны читать

Аксенов. Я ничего не читаю. Там много таких мертвых душ в редколлегии "Континента", видимо, одна из них. Несу, конечно, какую-то ответственность просто в порядке алфавита.

Розанова. Но раз вы в этом алфавите первым, то с вас и первый спрос.

Аксенов. Это, к сожалению, всегда так бывает. Впрочем, если бы я мог уделять больше внимания "Континенту", я бы как-то повлиял на его структуру художественную, но у меня времени нет, и отдаленность сказывается, поэтому я очень мало, почти никакого влияния, то есть, собственно говоря – нулевое влияние...

Розанова. То есть, если в журнале "Континент" Генриха Белля называют собакой, то...

Аксенов. То я этого даже не заметил...

Розанова. То вы не читаете свой журнал...

Аксенов. Генрих Белль явно не собака...

Розанова. Или – недавно у них было очень прелестное редакционное суждение в "Континенте" – о том, что Швеция малая нация с локальной культурой и поэтому ее представители не имеют права суждения о великой русской культуре. Такое было написано от имени редакции, от имени редколлегии, то есть от вашего, Васичка, имени.

Аксенов. Ну, почему? Это ведь от имени редактора...

Синявский. Нет, это не от имени редактора.

Аксенов. Но ведь "колонка редактора"...

Синявский. Нет, нет, это не колонка редактора...

Розанова. Нет, это был опубликован материал, после которого идет редакционное примечание, т.е. примечание коллектива. Это не от имени Максимова.

Синявский. Ну вряд ли вы считаете, что Прибалты – малые нации, локальная культура, что они не имеют права, что...

Аксенов. Нет, я так не считаю, но честно говоря мне все это как-то до лампочки... Это уже мнение редактора, все знают страстную натуру редактора "Континента". Это его журнал, в его собственном лице, и я там помещен просто в порядке...

И. Левин. Отчетности...

Аксенов. Ну да...

Розанова. Как?!? Вас включили в порядке отчетности?

Аксенов. Конечно. Я никакого влияния на журнал не оказываю...

Розанова. *(искренне веселась)*. Васичка! Давайте, я вас тоже включу в порядке отчетности в "лигу соппортеров" "Синтаксиса"!

Аксенов. Будьте любезны!

Розанова. Значит, входите в "лигу соппортеров"...

Аксенов *(перебивает)*. С удовольствием! С удовольствием!

Розанова. ...журнала "Синтаксис"? Будете помогать журналу?

Синявский. Так не читал человек журнал "Синтаксис"...

Розанова. Ну и что? Он "Континент" тоже не читает...

Аксенов. Я не читаю его, не читаю...

Розанова. Прекрасно! Значит в следующий номер я вас вставляю...

Аксенов. Конечно... Плюрализм...

Синявский и Аксенов *(вместе)* Мы – плюралисты? Плюралисты... Плюрализм! И мы все плюралисты... И я – плюралист! И я! И я!..

Аксенов. Недобитый плюралист... *(общий смех и веселье)*

Цветков. А "Синтаксис" – это как Остров Крым!

Аксенов. Что-то мне чай принесли, а вам не принесли.

Розанова. А где сладкое?

Синявский. Ладно, все, выключи машину...

В. Аксенова ввели в "Лигу" несмотря на возражения некоторых ее членов (см. "Синтаксис" № 14), а спустя какое-то время богатое писательское воображение Аксенова трансформировало все это происшествие в следующую жалобу по начальству, которую мы, к нашему большому удивлению, обнаружили в газете "Русская Мысль" (25 апр. 1986) :

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Нечто новое в литературно-человеческих отношениях. Вы сидите в кафе, ждете группу писателей к чаю. Они появляются, персон пять-шесть, среди них одна дама. Прошу вас, господа, располагайтесь. Все располагаются, но не успевают и рта раскрыть, как дама вытаскивает из сумочки магнитофон, бухает его перед вами и говорит:

— Ну-ка, Аксенов, отвечайте, почему вы сотрудничаете с реакционерами "Континента"?

— Помилуйте, Мария Васильевна, ведь это же просто-напросто кафе "Рондо", ведь мы же просто-напросто чай собрались пить с сухарями!

— Нет уж, вы не увильвайте, а прямо отвечайте, что вы в материальной зависимости от Максимова!

Сотрудничество с реакционерами впервые предстает перед вами в таком свете. Не без некоторой поспешности вы производите в уме калькуляцию и соображаете, что и в самом деле кое-что заработали за шесть лет ("Цапля", "Свияжск", кусок из "Изюма"...) — месяца на два проживания, не меньше.

Шокированное общество пытается шуточками и остротами сгладить пламенную инквизицию Марии Васильевны. Вам остается только долбать себя за легкомыслие чай-

ные церемонии в литературе надо нынче устраивать с осторожностью, не прежние времена. Более-менее все сглаживается, хотя время от времени Мария Васильевна все-таки дает вам понять, что вам никогда не вырваться из-под тирании Максимова и никогда не сможете решиться на сотрудничество с "Синтаксисом". Зато, отвечате вы, я всегда могу решиться на разрыв с журналом "Партизан ревью", хотя он заплатил мне ненамного меньше.

Вечеринка, хотя бы внешне, начинает принимать какие-то человеческие черты. На магнитофон посредине стола стараются не обращать внимания. Подходим к более-менее благополучному завершению, встасм. На выходе из кафе Мария Васильевна показывает вам в спину и тихо говорит молодому поэту.

— Напиши пролив него статью, врежь этому гаду!

Неплохая концовка этой маленькой истории; однако проходит несколько тактов молчания, и флейга взвизгивает вновь: вы обнаруживаете свое имя в списке почитателей журнала "Синтаксис". Мария Васильевна, как это понять? Зачем вам этот гад? Реакционеры мало ему платят, чтобы печься о Вашем журнале.

Василий Аксенов

Мы не знаем причин, которые вынудили В. Аксенова написать свое письмо. Кто и чем его так запугал? Даже его покаянная статья в советской газете в начале 60-х годов была написана с большим чувством собственного достоинства. Но что бы ни стояло за этим посланием, мы приносим В. П. Аксенову глубочайшие соболезнования.

Мы не знаем, чем объяснить странное и ни с какими канонами газетного дела не совместимое поведение "Русской Мысли", которая проявила в этом вопросе непонятную личную заинтересованность и даже не симулировала объективность.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗБРАННОЕ

<i>Эдуард Лимонов. Стихи</i>	3
<i>Абрам Терц. Гости.</i>	16

ИСТОРИЯ И МИФОЛОГИЯ

<i>Г Померанц</i> Роль масштабов времени и пространства в моделировании исторического процесса	30
<i>Мих Вайскопф.</i> Рождение культа	67
<i>Ольга Матич.</i> Палисандрия: диссидентский миф и его развенчание	86
<i>Жорж Нива</i> Пьер Паскаль или "русская религия".	103

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ЭМИГРАЦИЯ.

<i>Борис Шрагин.</i> Похвала полемике	125
<i>Андрей Синявский</i> Диссидентство как личный опыт	131
<i>И. Шамир.</i> Третья волна или Улисс и Циклоп	148
<i>А. Кустарев</i> Дети солнца	165
<i>Игорь Померанцев.</i> Mit Blumen auch schon	169
<i>З Зиник</i> Воображаемое интервью с Владимиром Набоковым	178

СРЕДИ КНИГ

<i>Б Гройс</i> Политика как искусство	188
<i>Дм. Бобышев.</i> Бахыт Кенжеев и Прекрасная Дама	200

ПЯТЫЙ УГОЛ

История о том, как В. Аксенов вошел в "The League of Supporters" "Синтаксиса" и что из этого вышло	205
--	-----



Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу
редакция в переписку не вступает



Цена номера 55 фр фр
Подписка в редакции на 4 номера — 200 фр.фр
Пересылка за счет подписчика

